

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

## ПОЛЕ БРАНИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

*Сказал также [Иисус] ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят.*

Благая Весть от Луки. 17:1,2

*Говоря, ты рождаешь слово, и оно не умрёт до Страшного Суда.*

Святитель Феофан Затворник

*Написанное пером не вырубешь топором.*

Русское присловье

### Мудрость мира сего...

Ныне довожу до ума записки, что рождались на мрачном исходе минувшего века, когда Виктор Астафьев жил в здоровом уме и ясной памяти, хотя и усталый от всесветной славы, когда маетно и азартно завершал надсадный фронтовой роман, когда обиженно и осерчало толковал о вчерашней России, что созидала рай для рабочих и крестьян, когда клял отца народов Иосифа Сталина и фронтowych командиров, тупых, честолюбивых и жестокосердных, когда бранил и русский народ, *рабский, хмельной и ленивый*; а на исходе в оглушительном и скорбном разочаровании дольным миром, где всё суета сует и томление духа, начертал измождённой рукой: *“Я пришёл в мир добрый, родной, и любил его бесконечно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание...”*

Коли, по преданию, писатель в предчувствии близкого исхода жаждал беседы с иноком, то, очевидно, в любви ко Всевышнему и ближнему, в покаянии рассталась душа с плотью: *“Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Виктора, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное...”* А на земле российской, коя и поныне спасается праведниками, в людской памяти навечно поселились любомудрые и краснопевные, народные и природные сочинения Виктора Астафьева *“Царь-рыба”, “Последний поклон”, “Ода русскому огороду”, “Звездопад”, “Пастух и пастушка”, “Кража”* и другие произведения, в коих *“русский дух и Русью пахнет”*, где писатель *“милость к падшим призывал”*, где писательское слово было послушно Богу. И будут жить, будить от душевной дрёмы, греть зябнущие сердца, доколе будет жива русская словесность, избранная, что от Бога, а не князя мира сего.

О русских писателях, подобных Виктору Астафьеву, Валентину Распутину, народной властью, а потом и буржуазной всемирно повеличенных, написано изрядно сочинений и мудрых, и ярких, и столь же пустого славословия: уж и *последний певец русской деревни*, уж и *совесть нации*, уж и *печальник*, и *молитвенник о народе русском*... Устами лукавых поклонников, что греют руки в лучах писательской славы, и устами дурковатых пустозвонов мёд бы пить, а не речи творить. Ишь, словоблуды медоточивые, патокой залили домовины, души усопших слиплись... Даже о святых исповедниках, проповедниках, прорицателях тише толковали, а святые боговдохновенные любомудры, спасительной горней мудростью, да и красой слова возвышались над мирскими писателями, даже гениальными, как божественное небо над грешной землёй. Лишь святых, что одолели похоти земные и просияли в Земле Российской, не грех славословить: де, печальники и молитвенники о народе русском, ибо их святые молитвы слушает Господь Бог.

Тьма суетного славословия клубилась над Енисеем, над приречным сельцом, где явился на Божий свет грядущий народный писатель, и слава Богу, что светились над рекой и поклонные слова, подобные слову Михаила Тарковского в очерке “Речные писатели”, где нынешний певец батюшки Енисея живописно свил прозу сибирских писателей Астафьева и Распутина с великими сибирскими реками — с Енисеем и Ангарой. Глянул же мои записки о Викторе Петровиче, Михаил встревожился: “А любил ли я прозу Астафьева?..” — на что я ответил: “Михаил, брат, здорово!.. В записках я хоть и бегло, но запечатлел былой восторг или тихое умиление от прозы Астафьева, — разумеется, избранной, поскольку недавно перечёл “Обертон”, вспомнил иные фронтовые повести и опечалился: виден Астафьев — иронический бытописатель, увы, порой и скабрёзный, но уже смутно видится Астафьев — народный и природный живописец... Мы были знакомы, в моих архивных залежах хранится даже его письмецо о моих сказах; но виделась мимоходом, говорили мимолётом и не с глазу на глаз. Я не досаждал Виктору Петровичу, хотя слышал... если приятели-писатели по дружбе не сбрежали... что Астафьев даже и похваливал некие мои сочинения, попавшие ему на глаза... Обычно его плотно окружали поклонники из писательских дарований, среди коих воронами кружили и ловкачи из тогдашних либералов, что бранились с русскими националистами... ”

Жалко мне лукавых критиков, ловких издателей и прочих *деятелей*, что лезут в друзья к знаменитым русским писателям, возлюбив их не за слово, а за славу, некогда дарованную Красной Империей, чтобы согреть руки в сиянии славы. Душу-то можно согреть и без дружбы, читая сочинения великих, а вот поживиться... Миша, я поправлю статью и, может, поярче выражу любовь к житейскому миру Астафьева, близкому мне детством и отрочеством среди вольной природы; и выражу любовь к слову Астафьева, родному, народному, у коего я, молодой и заполошный, учился... ”

Несмотря на то, что с косыми, исподлобными, поздними взглядами Астафьева на русский народ и русскую историю я не соглашался... я был в солигласии с Распутиным... талант же астафьевский любил и ученически чтит, — талант, воплощённый даже и в романе “Прокляты и убиты”, хотя воплощённый в гневе, в сердцах... Астафьевская писательская судьба в сих записках стала лишь поводом для размышлений о русской литературе в её горних вознесениях и дольных падениях в безумную мудрость века сего, ибо “мудрость мира сего есть безумие пред Богом” (1 Кор. 3:18–19)”. На том, Михаил, и кланяюсь. Храни Господи и тебя, и твоих домочадцев. Зима 2016 года”.

В сих заметках вдосталь цитат, больше, чем авторского повествования, и не случайно, а дабы подчеркнуть, что здесь не личностные... упаси Бог, скажут ещё и *ревнивые*, *безжалостные*... субъективные размышления автора о знаменитом писателе, но суждения его читателей, почитателей и писателей. Не обременяясь дотошным разбором сочинений, — пусть книжные мудрецы размышляют о роли многоточий в “Последнем поклоне”, — решил я поразмыслить о поздних воззрениях Астафьева, выраженных в его речах и сочинениях, в переписке, собранной в последней книге пятнадцатитомного собрания сочинений, увидевшего свет благодаря Борису Ельцину. Изрядно астафьевских посланий, что выплеснулись на бумагу в душевных порывах и смятениях, изрядно и писем самому Астафьеву, столь сокровенных, заповедных, что из этических соображений не все письма уместно было включать в собрание

сочинений, чтобы не выносить сор из писательской и... русской избы. Но теперь уж что, теперь уж написанное пером не вырубись и топором; теперь всё, даже сказанное мимоходом, в сердцах, сказано на века.

Публичная переписка, где и Астафьева не жалуют, где Виктор Петрович иной раз и сам себя не щадит, выразила душераздирающие противоречия поздних писательских воззрений на Россию и родной народ, на русский национализм и его вождей и глашатаев; и если закатные идеи Астафьева в художественных произведениях не так остро и угловато выпирают, смягчаясь повествовательным потоком, то в письмах предстают оголёнными, крикливо митинговыми, похожими на хлёсткую брань.

### Тургенев, Толстой и Астафьев...

Подумалось: записки об Астафьеве в изначальном виде увидели свет в журнале "Сибирь"<sup>1</sup>, когда Виктор Петрович ещё доблестно сражался с русофилами; и, может, записки были интересны и злободневны лишь при жизни писателя, в то российское злолетье, когда русофилы яро бранились с русофобствующими властителями... растлителями дум?... По древнему обычаю про усопшего либо молчат, либо говорят добрые слова, а ведь в моих записках есть и упрёки, и укеры... Но... скажу в оправдание: восхищаясь живописным словом Астафьева, в записках, что нынче привожу в Божий вид, я размышлял не столь о творчестве енисейского сочинителя, сколь о его поздних взглядах на русский народ и отечественную историю, хлёстко и откровенно выраженных в военном романе и в переписке с друзьями и недругами, с писателями и читателями. К сему хотелось и вписать строку в историю русской литературы, запечатлеть писателей на фоне идейной брани, что разгорелась в России на мрачном закате прошлого и кровавом рассвете нынешнего века. А брань та лишь чудом не переросла в братоубийственную, и Астафьев мог оказаться с былыми друзьями, вроде Белова и Распутина, по разные стороны баррикад... А перво-наперво, хотелось в записках показать писателя, сквозь великие искушения, сквозь мирские и творческие страсти пришедшего к смирению, покаянию и спасению во Христе.

Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном даровании Виктора Астафьева, говоря о его весёлом, простолодном характере и певучей любви к природе – Творению Божию, – читатели, а тем паче писатели и учёные имеют полное право толковать, и даже посмертно, об идейных шатаниях и метаниях литератора, что из души выплёскивались в сочинения. И толкования, пусть даже и ворчливые, – не тень на плетень, они не умалят величия художника в мировом искусстве, но правдиво изобразят сложнейший художественный мир во взлётах и падениях, в блужданиях и озарениях. Про еретика Ария, которому дал в ухо святой угодник Никола Чудотворец, надо бы молчать либо говорить добрые слова – покойник же, да к тому же, хоть и кривой, а могучий религиозный мыслитель, но ведь собаку Ария уже семнадцатый век христианские богословы костерят за ересь поганую...

А скажем, Иван Тургенев в читательском сознании не выпадет из череды классиков русской литературы от того, что православный христианин Фёдор Достоевский... да и все тогдашние русофилы... восприняли роман Тургенева "Дым" как западническую клевету на Россию. "Дым", по словам Фёдора Михайловича, "подлежал сожжению от руки палача"; "...книга "Дым" меня раздражала. Он (Тургенев. – А. Б.) сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: "Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. (...) Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно. Но вот что я заметил: все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы ещё Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться (преимущество провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что они *любят Россию*. А между тем не только всё, что есть в России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что они его отрицают и тотчас же с наслаждением обращают в карикатуру, но что если б действительно представить им наконец факт, который бы уж нельзя опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они бы были

до муки, до боли, до отчаяния несчастны. (...) Я (Достоевский. — А. Б.) перебил разговор<sup>2</sup>; заговорили о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев: “Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, чёрный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!” Он (Тургенев. — А. Б.) побледнел (...) и сказал мне: “Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!”

Достоевский обличал русофобствующего германофила Тургенева, разумею, не из честолюбивой ревности... сам при жизни в гениях ходил... разумею, не из зависти к богатому барскому имению и даже не от славянофильства, но лишь из сыновьей любви к родному русскому народу, униженному и оскорблённому. Оно, вроде, и брань на ворота не виснет, но ведь простоватый русский книгочей может и за чистую правду принять выводы Тургенева о том, что “...Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... (...) Наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потребовала бы, родная (...) потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. (...) Ну скажите мне на милость, зачем врёт русский человек? (...) Лезут мне в глаза с даровитостью русской природы, с гениальным инстинктом (...) Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетание спросонья, а не то полузвериная сметка. (...) Русское художество, русское искусство!.. Русское кружение я знаю и русское бессилие тоже, а с русским художеством, виноват, не встречался. (...) Русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете; а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей...”

Ранешние царские западники, хотя, случалось, и грешили русофобией, всё же были западники по убеждению и думали, что западноевропейский стиль жизни во благо России; нынешние же лукавые “западники” с русофобской пеной на губах куплены Западом с потрохами и по сниженным ценам, — товар бросовый, молью побитый... И за славу суетную, злато-серебро испросил сумеречный князь душу, Богом дарованную... А посему нынешним “западникам” хоть наплюй в глаза, да хоть помочись в очеса — всё Божия роса... Среди русофилов есть малые и великие грешники, но русофилы каются, а русофобы каяться не способны, ибо без Бога и царя в голове, русофобы не грешники, русофобы — слуги князя тьмы...

Не унижают же художественный гений Льва Толстого, но во спасение русской души, скажем, грозные проповеди святого праведного Иоанна Кронштадского супротив ереси мятежного графа: “Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю... Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения... (...) О, как ты ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны... (...) Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толстого? Доколе не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала терпеть его богохульство. (...) Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостью своею посмрадивший всю землю. Аминь”<sup>3</sup>.

Мог ли светоч Земли Русской праведный Иоанн Кронштадтский писать вежливей, читая статьи графа Толстого, клопочущие ненавистью к Русской Православной Церкви: “...Я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. (...) я отвергаю все таинства. (Из письма Л. Толстого по выходу Постановления Священного Синода об отлучении его от Церкви.)

А ранее борзый и гордый гений замахнулся и на Святое Писание, на христианство: “Разговор о божестве и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле”. (Из дневника Льва Толстого.) Воистину, зеркало русской революции;

верно мыслил *великий* Ленин, ненавидевший Достоевского за Церковь Христову, возлюбивший Толстого за отвержение от Церкви, равно и царя Петра Первого, родного большевикам по неприязни к всему русскому, исконному.

Я повёл речь о писателе Астафьеве, и зачем же помянул предзакатного Тургенева, Толстого?.. А затем, чтобы показать идейную близость сих писателей в их позднюю пору, дабы заодно и подтвердить сказанное раньше: про усопших писателей грех говорить скверно, да и про всех ближних, живых и мёртвых, но растолковать простоватому книгочею их мировоззренческие блуждания во тьме — не грех, но лишь во благо нынешним и грядущим читательским душам. Правда, ещё толкуют мудрые: де, про покойных либо молчат, либо говорят правду...

Увы, забывали писатели речение Христа: “Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят” (Лк. 17:2). Различны были изначальные мотивы писательских ересей: у великих — Тургенев, Толстой — и блуждания великие, а равновелик ли дворянским классикам сибирский мужик, нынешний век решит; но я думаю, вершинные сочинения Астафьева — уже в ряду классических произведений и даже превосходят иные, ибо запечатлели не узкий дворянский мир, но крестьянский — суть народный, поскольку крестьянство в начале прошлого века составляло почти девяносто процентов народонаселения России, поскольку в русских, чем бы те ни промышляли, и по сей день крестьянский дух не выветрился из души. Но то уже иная беседа...

### Встречи

Литературная судьба моя — горькая полынь: тяжко из деревенской грязи угодить в белоперчатные князи; а и грех жаловаться: на склоне лет одобрительно хлопали по плечу бывшие мастера, а к сему сподобился и общаться с писателями, коих при жизни величали классиками, а тех, кто в здравии, величают и поныне<sup>4</sup>. Валентин Распутин изрядно подсоблял мне, смутному и зедёному; с Василием Беловым обменивались книгами и письмами; не единожды встречался и с Виктором Астафьевым — в Красноярске, Дивногорске, Овсянке, в Барнауле, Бийске, Сростках, где мы вместе беседовали с енисейскими и алтайскими книголюбями, сиживали рядом в дружеских застольях...

Коли виделся с Виктором Петровичем годом да родом, мимоходом-мимолётно, то и не скопил в закромах столь случаев, чтобы писать обширные воспоминания, а привирать — грех. Вдруг... может, ни к селу, ни к городу... помянулась расхожая на Алтае писательская байка... Как из снежка, пущенного под гору, вырастает снежная баба с морковным носом, так и после смерти Василия Шукшина обильно и стремительно вырос круг его *близких* друзей, жаждущих покрасоваться на фоне Шукшина, а может, и копейку зашибить на воспоминаниях. Попутно сочинялись и мемуары в духе: *я и Шукшин*...

И вот якобы на Алтае затеялся вечер памяти Шукшина, где писателя вспоминали его приятели и знакомцы; и когда вечер уже затихал, на сцену самоустийно пробился застарелый стихоплёт, который так измаял писателей кудрявыми и корявыми виршами, что иные слабонервные, завидев стихотворца, падали в обморок. Забрался мужичок на помост и вещает: “А ведь и я встречался с Макарычем, и я хочу писать воспоминания... Помню, — говорит, — вхожу в приёмную второго секретаря Алтайского крайкома партии, а секретарша говорит: “У него Шукшин на приёме...” О, думаю, подфартило: с Шукшиным свижусь, побеседую, — худо-бедно, мы с Макарычем старинные друзья. Выходит Шукшин... в сапогах, кожаном пиджаке, сердитый... Тут я и подбежал: “Здравствуйте, Василий Макарыч; помните меня?... Я вам стихи посылал... в амбарной книге...” Макарыч и говорит: “Почитал, почитал, дружище; да ты же ходячий гений...” Но тут вздыхается другой поэт и обличает “гения ходячего”: “Да мы же, Федя, с тобой вместе были в крайкоме, и я слышал, что Макарыч ответил; он вот так махнул рукой на тебя и говорит: “Пошёл-ка ты, Федя, к едре-е-ене фене!...”

Байка, конечно, но и нет же дыма без огня... Смех смехом, а и Виктора Петровича, видимо, постигла та же посмертная участь обрести тьму друзей. А к друзьям добавилась и тьма исследователей, что прошарили сочинения до жалкой запятой. Помню, в Перми на Астафьевских чтениях среди мудрёных

речей слушал профессорский доклад... про эмоционально-семантическую роль многоточия в произведениях Виктора Астафьева. Всё исшарили, всё истолковали; словно заплесневелым илом, завалили вымыслами и домыслами творческую и житейскую судьбу писателя; а ныне и до многоточий добрались...

Кстати, Виктор Петрович осчастливил сразу три российских города: Красноярск – здесь прошли его детство, отрочество, ранняя юность, а потом – и преклонные лета; Пермь – в пермские земли вернулся после войны с женой-пермячкой; Вологду – здесь долгие годы жил и творил. Осчастливил, перво-наперво, издателей и библиотекарей: под писателей вроде меня казна и ломаного гроша не даст, а уж под Распутина и Астафьева раскошелится, вот почему и крутился подле них окололитературный ловкий народец. На помянутых советских *деревенщиках* нажились и услужливые, хитрые критики, и ловкие издатели, и прочие бойкие деятели искусства и журналистики.

Славили и славят Пермь и Вологда Виктора Астафьева, но писателю роднее Красноярье: здесь речным туманом уплыло в небесную синь деревенское детство, воспетое и оплаканное; здесь батюшка Енисей, оживший под писательским пером, матёрый и непостижимый в своей мощи и красе. Изначально и свиделись мы с Астафьевым в Красноярье, где с широким и хлебосольным советским размахом гремели Дни “Литературной России”; и писательскую братию, что слеталась со всей России-матушки, не токмо поили и кормили от живота, но и катали по Енисею на белом корабле.

Речи Астафьева, публичные и тихие застольные, я не запечатлел в “записных книжках”, а посему вспоминаю смутно, передаю своими словами. Хотя слушал Петровича, отпахнув рот, страшась проронить и мелкое словцо, поскольку вырос среди мужиков, что не токмо анекдоты травили, а и веселили народец сельскими байками, искусно ведали таёжные бывальщины и былички про нежить лесную, полевую, водяную и болотную, избяную и дворовую. Я вырос в мудром и украсном говоре, словно в тайге, дивной и щедрой.

Пристально всматриваюсь в чёрно-белую карточку, где десятка три писателей, гуртясь на палубе, замерли в ожидании птички-синички, что выпорхнет из фотокамеры: вот писатель Хайрюзов и я сидим на резиновой лодке, а меж нами – астафьевская внучка, а над нами – Петрович и его Марья, а далее – провинциальные сочинители, вроде меня, грешного, коих власти осчастливили писательским праздником. Счастье же лицезреть, слушать знаменитого писателя, гулять по Енисею на белом корабле, спорить, соглашаться в жарких застольных беседах, наперебой читать стихи, а ино и прозу...

Тут же родилась и другая карточка: полумесяцем выставили на потеху и поглядение бородатых писателей, куда угодил и я, забородатевший, кажется, с пелёнок; впрочем, ради красного словца молвлено с *пелёнок*, а ежели без прикрас: стукнуло двадцать девять лет, “Литературная Россия” напечатала рассказ с благословляющим распутинским словом, потом газета присудила мне премию “За лучший рассказ года”, хотя, думаю, за распутинское слово, тут и бросил я скоблить скулы, тут и зарос гнедой шерстью по самые очеса. Помню, гладко выбритый горемычный писатель едко высмеял меня: “Как в люди выбьются, так сразу бороду растят...” В бородатые, что сбились на нижней палубе, угодили и други мои Михаил Щукин – прозаик из Новосибирска, – и Владимир Башунов, Царствие ему Небесное, – талантливый *русский* поэт из Барнаула. И помню, Астафьев с верхней палубы с отеческой улыбкой поглядывал на бородатое писательское племя, и может, вертелась в уме ходовая сказка: борода, что лопата, а ума маловато; либо иная: борода, что лопата, и ума – палата.

Брежневская власть уже не страдала большевистским богохульством, и писатели в Красноярске посетили храм, потолковали со священником. О чём, хоть убей, не помню; да и священник в памяти не осел, поскольку меня, как и всю писательскую поросль, интересовал и волновал лишь Виктор Астафьев, о ту пору советской властью уже отмеченный Звездой Героя Социалистического Труда, двумя Государственными премиями СССР, изданный многомиллионными тиражами, переведённый на все языки читающего мира.

Среди молодых гостей в Красноярье и Владимир Константинович Сапожников, тоже матёрый сибирский прозаик; а коль годами был близок Астафьеву и тоже воевал, то по-дружески и подсмеивался над писателем-приятелем. Но и Виктор Петрович за словом в карман не лез, тут же лихо отшучивался.

Жаль, не запечатлел я потешную перебранку пожилых бывалых мужиков дословно, а посему передаю своими словами.

Помню, выбрались мы из автобуса, любовались храмом, тут и Астафьев подкатил на лаково сверкающей чёрной “Волге”, в каких ездили советские вельможи вроде секретарей обкомов и крайкомов. Сапожников, помню, хвастливо говорит Астафьеву: мол, Витя, у тебя “Волга”, а у меня, брат, “Нива”... “А у меня — ещё и водитель...” — осадил его Витя. “Нива” в благословенную брежневскую тишь тоже почиталась машиной начальственной, а для худых дорог — родной и дорогой.

Ещё, помню, громоздкий наш автобус, неуклюже разворачиваясь на овсянkinских улочках, причалил к усадьбе Астафьева, и говорливой писательской братией наполнилась деревенская ограда, плавно переходящая в огород. “Витя, а на какой грядке тебе памятник поставят?” — усмешливо спросил Сапожников, на что Виктор Петрович осерчало сверкнул зорким оком и, кажется, промолчал. Но когда мы нагрянули в усадьбу писателя Буйлова, и нас встретил малый лет трёх-четырёх, что сидел на заборе и весело вопил, вот тогда Виктор Петрович и ответил: “Ума мало, молотит чо попало, вроде моего друга...” — и с лукавой улыбкой кивнул на Сапожникова.

Писательская братия любила Виктора Петровича — талантливого прозаика и затейливого балагура и баешника, каких в стародавние времена записывали шустрые туристы-фольклористы, хотя и жаль, что красноповец-енисеец, случалось, солоно солил, остро перчил бывальщины и байки; и соромщина, словно трава-дурнина в житном поле, вскоре проросла и в художественной прозе.

Валентин Распутин уродился потаённым, молчаливым... Злоязыкие про эдаких обычно добавляют: мол, себе на уме... И если говорил в дружеском кругу, то кратко и притчево; Астафьеву же был отсулён природой и породой дар сказителя и народного певца. По воспоминаниям, тот обладал сочным басом, переходящим в густой баритон, коим бы дьякону петь на Божественной Литургии и в архиерейском хоре. Так и слышишь, Виктор Петрович, яко Шаляпин, возглашает: “Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...”

Где бы не сбилась в застолье писательская братия, если там оказывался Астафьев, то застольники слушали лишь его — мужики с восхищением, барыни и барышни с любовью, иные, может, и с надеждой на взаимность... Астафьев не чурался страстей мира сего, отчего и творческая, да и житейская судьба соткались из трагических противоречий. В “мировой паутине” ныне изрядно воспоминаний и о сугубо личной жизни Виктора Петровича; вот выписка из недавно прочитанных: Астафьев “на фронте ... несколько раз был тяжело ранен, здесь же он в 1943 году познакомился со своей будущей женой Марией Корякиной, которая была медсестрой. Это были два разных человека: Астафьев любил свою деревню Овсянку, где родился и провёл самые счастливые годы детства, а она не любила. Виктор был очень талантлив, а Мария писала из чувства самоутверждения. Она обожала сына, а он любил дочь. Виктор Астафьев любил женщин и мог выпить, Мария ревновала его и к людям, и даже к книгам. У писателя были две внебрачных дочери, которых он скрывал, а его жена все годы страстно мечтала лишь о том, чтобы он был всецело предан семье. Астафьев несколько раз уходил из семьи, но каждый раз возвращался назад. Два таких разных человека не смогли покинуть друг друга и прожили вместе 57 лет, до самой смерти писателя. Мария Корякина всегда была для него и машинисткой, и секретарём, и примерной домохозяйкой. Когда жена написала собственную автобиографическую повесть “Знаки жизни”, он просил её не публиковать, но она не послушалась. Позднее он также написал автобиографическую повесть “Весёлый солдат”, которая рассказывала о тех же событиях<sup>5</sup>.

“...Привыкали они друг к другу долго. Характер у Астафьева был тяжёлый, неуживчивый, но брак не распался, выдержал, во многом благодаря ангельскому терпению Марии, за которое Виктор уважал её и любил всю жизнь. Несколько раз за время их супружества неусидчивый Астафьев вдруг срывался с места и куда-нибудь уезжал — то в Вологду, то в Красноярск, то ещё куда-нибудь, и не на маленький срок, а на полгода или дольше. Но возвращался он всегда, и Мария молча, без слова упрёка принимала его обратно...”<sup>6</sup>

Может, ошибаюсь, но чудится, в дальнем мире вдохновенно и верно Астафьев любил лишь природу, искусство и — особо — литературу... Помню, в начале девяностых, ещё не отчалив от патриотов к либералам, будучи на Шукшинских чтениях, Астафьев горько и прилюдно толковал о русской словесности, и, слава Богу, без соли и перца. Заповедовал: коли русская литература выживет, выстоит вопреки властителям-растлителям, то не грех бы литературе и памятник поставить — эдакую величавую скульптурную композицию: измождённый писатель, которого подпирают две заморённые бабоньки — библиотекарь и учитель литературы... Эдакий бы памятник воздвигнуть в Красноярске, да хоть в самой белокаменной столице... Позже в застолье... вроде, в шукшинских Сростках... когда братья писатели завеселели, я, помнится, возразил Астафьеву: дескать, колесил и куролесил по Иркутской губернии, беседовал с библиотекарями, учителями словесности, и нигде не видел заморённых, даже в глухомани, но — все крепкие, ядрёные... Виктор Петрович осерчал, сверкнул одиноким оком... не любил, чтобы перечили... и, кажется, проворчал: мол, картошку сеют...

Да-а, были Шукшинские литературные чтения, где Астафьев, Белов, Распутин *глаголом жгли сердца людей*, проповедуя любовь к родному русскому народу; а как чужебцы порушили народную власть и обратили Российскую Империю в топливную колонию Запада, то и Чтения обратились в лицейский Фестиваль, где, утеснив писателей, артисты тешили толпу, жаждущую хлеба и зрелищ. Впрочем, среди артистов, слава Те, Господи, случались и русские народные, самородные, достойные былых Шукшинских чтений.

### Русский националист Виктор Астафьев

Единодушно, единомышленно и равноправно с именитыми “деревенщиками” вошёл в русскую литературу Виктор Астафьев; а на перевале веков ещё и прославился как *русский националист с юдофобскими замашками*. Так его повеличало русскоязычное писательское еврейство, как некогда повеличало и крестьянских поэтов начала прошлого века, начиная с Сергея Есенина и завершая Павлом Васильевым. Николай Клюев писал о том, как встретила Есенина русскоязычная шатия-братия: “Ждали хама, глупца непотребного, // В спинжаке, с кулаками в арбуз, // Даль повыслала отрока вербного, // С голоском слаще девичьих бус. (...) Он поведал про сумерки карие, // Про стога, про отжиночный сноп. // Зашипели газеты: “Татария! // И Есенин — поэт-юдофоб!” Статью о русофобии большевики, увы, не вписали в уголовное право...

Если Валентин Распутин *интеллигентно* обходил, не касался русско-еврейских отношений, если Василий Белов пытался осмыслить *отношения* в романе “Всё впереди”, то Астафьев, мужик горячий, хлёсткий, откровенно и гневно выразил в ответе Натану Эйдельману всё, что думает о роли его соплеменников в русской судьбе.

Зачин астафьевского письма Эйдельману — русская пословица: “*Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши, врага не наживёшь*”; а далее письмо... “Натан Яковлевич! Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге — совсем другое дело. У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам “эсперанто”, “тонко” названном “литературным языком”. В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже “приберём к рукам” и — о ужас! о кошмар! — сами прокомментируем “Дневники” Достоевского. Нынче летом умерла под Загорском тётушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: “Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится”... (Грузины долго бушевали, браня Астафьева за то, что писатель в рассказе “Ловля пескаррей в Грузии” мрачными красками запечатлел грузинского торгаша-спекулянта, барственного,



походя унижающего русских. — А. Б.). Последую её совету и на Ваше чёрное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже “трунения”), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты, и в первую голову, — из Стасова, — насчёт клопа, укуса которого не смертелен, но... (...) Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не предаёте своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Крывелёв — и фамилию украл, и ворованной моралью — падалью питается. Жрёт со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми. Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в Евангелие: “Господь! Прости нашим врагам, Господь! Прими и их в объятия”. И она, и сестры её, и братец, обезноживший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский. Так что Вам в минуты утишения души стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юрковского и иже с ним, маяясь по велению “Высшего судии”, а не по развязности одного Ежова. **Как видите, мы, русские, ещё не потеряли памяти, и мы все ещё народ Большой, и нас все ещё мало убить, но надо и повалить.** (Выделено мной. — А. Б.) Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог! 14 сентября 1986 г. село Овсянка”.

Натан Эйдельман, по астафьевскому толкованию, столь похож на соплеменника Чекистова (*прообраз Лейбы Троцкого*) из поэмы Есенина “Страна негодяев”. Вот диалог Чекистова с красноармейцем Замарашкиным:

“Чекистов (*Троцкий*). Нет бездарней и лицемерней, // Чем ваш русский равнинный мужик! (...) То ли дело Европа? // Там тебе не вот эти хаты, // Которым, как глупым курам, // Головы нужно давно под топор...

Замарашкин (*русский красноармеец*). Слушай, Чекистов!.. // С каких это пор // Ты стал иностранец? // Я знаю, что ты еврей, // Фамилия твоя Лейбман, // И чёрт с тобой, что ты жил // За границей... (...)

“Чекистов (*Троцкий*). Ха-ха! / Нет, Замарашкин! / Я гражданин из Веймара // И приехал сюда не как еврей, // А как обладающий даром // Укрощать дураков и зверей. // Я ругаюсь и буду упорно // Проклинать вас хоть тысячи лет, // Потому что... // Потому что хочу в уборную, // А уборных в России нет. // Странный и смешной вы народ! // Жили весь век свой нищими // И строили храмы Божии... // Да я б их давным-давно // Перестроил в места отхожие” (Выделено мною. — А. Б.).

Осенью 1986 года переписка Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева, словно багровые осенние листья, словно боевые листовки, осыпала читающий мир, разошлась в тысячах машинописных листов, обратившись в самиздатовский бестселлер. Отныне имя Астафьева начертали... выбрали на чёрном камне... в списке *юдофобов*, где писатель красовался даже тогда, когда вдруг вошёл в сговор с теми, кого вчера клял. Но это потом, а пока...

Ныне можно лишь гадать о сокровенных оттенках астафьевского отношения к евреям, коих писатель, может, и делил на библейских евреев — богоизбранных, среди коих воплотился Сын Божий, давших христианству ветхозаветных пророков, святых апостолов, первохристиан, и на евреев, распявших Христа и два тысячелетия распинающих, мечтающих о мировом господстве, но под покровом князя мира сего, а не по Божию Промыслу. В пророчествах, изложенных архиепископом Серафимом по старинным греческим рукописям VIII–IX веков, сказано: “После того, как богоизбранный еврейский народ, предав на муки и позорную смерть своего Мессию и Икупителя, потерял своё избранничество, последнее перешло к эллинам, ставшим вторым богоизбранным народом”<sup>8</sup>.

Писатель мог особо выделить из иудейского мира евреев орусевших, вместивших в душу русский дух, славно послуживших России. Но вернее всего, Астафьев вёл речь лишь о былом *ростовщическом*, потом *революционном*, *богоборческом* еврействе, что после октябрьского восстания ухитило российскую власть вместе с российским искусством.

Станислав Куняев, что до скорбного перевоплощения Астафьева входил в его узкий дружеский круг, пристально оглядел родовое древо Эйдельманов

и узрел, что “яблочко от яблони недалеко падает”. Театровед Эйдельман-старший травил выдающегося русского поэта Павла Васильева (он был расстрелян по обвинению в фашизме, шовинизме и антисемитизме. — **А. Б.**), пушкинист Эйдельман-младший, продолжая семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень — выдающегося русского писателя Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью<sup>9</sup>.

Станислав Юрьевич оповестил Астафьева о своих изысканиях, и Виктор Петрович попросил: “...Ксерокопию с *деяний* Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жида до си успокоиться не могут, всё им кажется, что они всех перелукавили и могут уже торжествовать, танцуя на трупе русского мужика. Не думай, что это исключение нам такое, что им лишь бы лягнуть слабого и недужного; греков, например, они ненавидят ещё больше нас, и арабов, и американцев так же, только перед американцами пока “смирно” стоят, но дождутся — и за это “смирно” отблагодарят их”<sup>10</sup>.

Со второй половины восьмидесятых Виктор Астафьев негласно возводился в идейные вожди русского возрождения, и осенью 1989 года в Иркутске на встрече советских и японских писателей даже обороняет общество “Память”, подвергнутое демонизации как *черносотенное*: “...Если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет, — я буду с “Памятью”! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, — буду с ней. Я буду за правду! За народ!”<sup>11</sup>

Вскоре русскоязычные литераторы обрушились с проклятиями на *черносотенный* роман Василия Белова “Всё впереди”, опять же, как и Астафьева, обвиняя выдающегося русского писателя в юдофобии. Виктор Петрович принародно, печатно подержал старинного вологодского друга...

\* \* \*

Астафьев — душераздирающе противоречивый мыслитель: гулко и зло хлопнув *русской* дверью и метнувшись из ватаги русофилов в стаю русофобов, вдруг, будто невольно, по властному голосу предков, вновь и вновь впадает в русский национализм, что, напомним, по философу Ильину — любовь к нации, а не расизм, не нацизм. “Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви...” Толстой, поносивший патриотизм, однако, в споре о том, чей солдат сильнее — русский или германский, — горой вставал за русского, забыв о своём публично оглашённом космополитизме. “Нет ни эллина, ни иудея...”

Вот так же поразительно и предельно противоречиво отношение Астафьева к русскому национально-патриотическому движению: то русофобия, вроде подъярёмная, силком навязанная, то русофильство, по мнению либералов, с неизбежным *антисемитским* духом.

“Прочёл твой (*Нагибина*. — **А. Б.**) рассказ в “Книжном обозрении”, что-то об антисемитизме, об хороших евреяx и плохих русских. Евреи любят говорить и повторять: “Если взять в процентном отношении...” — так вот, если взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз орденов в войну получено больше по сравнению с русскими, но <это> не значит, что они храбрее нас, их погубили и погибло в огне и говне войны пять миллионов. Нас, с учётом послевоенного мора, раз в пять или десять больше, но миром оплакиваются те пять миллионов, и та нация признаётся страдавшей и страдающей, а у нас что же, у нас Россия — погост, вся нация растоптана, так что же, если одного человека погубят — это убийство, а сотни миллионов — это уже статистика, и я вижу и ощущаю, <как> мы, русские, становимся всё более и более статистами истории. (...) Заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя, они, как нынешние дворняги: чем их больше гладишь и кормишь, да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывают укусьить тебя. (...) Преданно твой Виктор”<sup>12</sup>.

“Дорогой Саша! (*Михайлов*. — **А. Б.**) (...) Я не читал этой критики, не слышал о ней. Прочёл, пожал плечами — несерьёзно это, хотя и небеспричинно. Это ж мне за начальника политотдела Лазаря Исаковича Мусенка гонорар, разве ты не понял? Меня как-то за слово “еврейчата” в “Печальном детективе” и за плюху Эйдельману доставали аж из Бостона, через “Континент”. Володя Максимов дальнюю критическую эпистолу не стал печатать, так криво

сикающая Горбаневская, сама себя записавшая в известные и потому гонимые поэтессы, как только редактор надолго отлучился, тиснула статью. И в ней было то же самое, жгучее, через слюнявый рот бьющее желание унизить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то ещё и писать. Громила жидовка мой лучший рассказ “Людочка”, заступаясь за русский народ, за русский язык, за нашу святую мораль и в конце статьи уж без маскировки лепила: “Он и раньше не умел писать, а ныне и вовсе впал...” Затем Агеев, ныне работающий в “Знамени”, в разовой ивановской газетёнке трепал ту же “Людочку”, как подворотный кобелишка штанину, и всё это с углублённой и сердечной заботой о русской культуре вообще и о литературе в частности. И нигде ни звука, ни хрюка о первопричине. Заметь, что худо написанное они у меня никогда не трогали. Стервятники! Хитрые и подлые. Меня, увы, это уже не бесит. Прочёл и прочёл. Газетёнка избыла честного русского мужаика Третьякова и вот с чего начинается восстанавливаться.

(...) Что любопытно: нападают на меня жида именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома неладно. Лежачего-то и бьют. Но я ещё стою, и меня, как Суворов говорил, мало убить, надо ещё и повалить. Можешь это другу своему Ваншенкину не читать, он-то, как мне кажется, на жидовские шути не способен и историческую, затаённую злобу в себе не несёт. (...) В. Астафьев<sup>13</sup>.

Неласковое отношение к русофобствующему еврейству беспокоило русскоязычных писателей и либеральных читателей: “... Вы вроде и евреев не жалуете... Знаю я, что Вам недосуг и здоровье не очень. Но, может быть, ответите мне: неужели Вы и впрямь антисемит? (...) Жуковская Юлия Захаровна<sup>14</sup>.”

Станислав Куняев в помянутом очерке “И пропал казак...” вспоминает, что Астафьев, будучи уже в либерально-буржуазном лагере, но помня о межнациональной схватке с Эйдельманом, ещё взбрыкивал, и на предложение печататься в бульварно-руссофобском журнале “Огонёк” ответил: “Я в жёлтой прессе брезгую печататься”. Виталий Коротич, главный редактор журнала, на сие лишь криво усмехнулся: “...Больно уж он кокетничает, увлекается игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. “Из еврейства, — написал он, — вы скатываетесь в жидовство...”<sup>15</sup>

Не жалея евреев, высмеивающих русский народ, не жалеет Астафьев и прочих, кто покушается на великорусскую честь: бранит правителей-хохлов, что, как и москаля, вышли из Киевской Руси, из восточных славян, но предали братьев по крови и вере; бранит хитромудрых грузинов и чванливых прибалтов с их студёной рыбьей кровью.

“...Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже мои самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых грузинов. (...) В. Астафьев<sup>16</sup>.”

“...Нечего этим ливонцам куражиться над живыми и над мёртвыми русскими. Одно время прибалты выкапывали своих родичей в Сибири, четверых выкопали в Овсянке. Делали они это с вызовом, оскорбляя русских. Я же думал: “А нам-то куда перемещать своих, невинно смерть принявших русских людей? Ведь вся Россия — сплошной погост? Им, прибалтам, выделяли бесплатно самолёты, ссуды давали, и не знаю, ведомо ли тебе, что всё время им 30% зарплаты — добавки к основной. (...) А вообще-то, давно уже идёт скрытая от всех русско-турецкая война на Кавказе, и её умело направляют гвардейцы из-за океана, нашедшие способ справиться с Россией без войны. (...) В. Астафьев<sup>17</sup>.”

Не жалуя “рассеянный народ”, жаждущий власти на Руси и на всей земле, не жалуя онемеченных ливонцев, Виктор Астафьев не жалует и бывших русских, даже из ныне родной либеральной стаи. В письме к Евгению Носову вспоминает, как гостил на юбилее покойного режиссёра Виктора Трегубовича, как познакомился с семьёй покойного — добрые, славные люди, — и тут же со свойственной ему крутостью вспомнил бывшую жену Василия Шукшина...

“Дорогой Женя! (...) Познакомился с его (Трегубовича, — А. Б.) сёстрами, братом, женой — все славные люди, не то что у Шукшина — там родного ближнего смерть не объединила, а сделала злыми, а жёнущка покойного Макарыча... интервью налево и направо даёт, помолодела, повеселела, ни креста, ни совести у неё, одно бесстыдство и позор. (...) В. Астафьев<sup>18</sup>.”

Даже когда Астафьев, словно в странном и страшном сне, вдруг из воинственного русофила обратился в столь же воинственного критика русофилов, либералы не простили *деревенщине* былого национализма, а посему, своекорыстно используя мировую славу Астафьева, тайно ненавидели енисейского писателя. Но время ушло: у русофобов пропал политический интерес к Астафьеву, и тайная ненависть стала явной. . .

“В последние годы он (Астафьев. — **А. Б.**) стал “своим” в чуждой и враждебной ему по сути среде, — писал Сергей Куняев в большой и основательной статье “И Свет, и тьма”. — Обласканный демократическими сиренами, захваленный теми, кто ещё пятнадцать лет назад без зубовного скрежета не мог слышать его имени, понимал ли он цену похвалам всей этой братии, люто ненавидящей традиционные русские ценности, без которых не мыслил Астафьев своего существования? Думаю, что понимал. И что самое интересное: эта компания также все прекрасно понимала. Расчётливо поднимая Астафьева на щит, объявляя романы “Прокляты и убиты” и “Весёлый солдат” лучшими среди всего, им написанного, восторгаясь его запальчивой и неумной публицистикой, они ждали своего часа. Непродолжительное время Астафьев был нужен им как знамя, которое потом, по истечении необходимости, можно превратить в половую тряпку. . . И вот час расчёта с писателем настал. В сентябрьском-октябрьском номере “Вопросов литературы” за 2003 год появилась статья Константина Азадовского “Переписка из двух углов Империи”<sup>19</sup>, полностью посвящённая приснопамятной расправе Виктора Астафьева и Натана Эйдельмана. Более десяти лет либералы, нося Астафьева на руках, расчётливо не вспоминали об этом эпизоде литературной жизни, в своё время всколыхнувшем весь читающий Советский Союз. Все проклинавшие тогда Астафьева напрочь “забыли” о своих проклятиях и включились в единый славословящий хор — бывший “патриот” и “заединщик” стал рьяным демократом. Ну как после этого не утереть нос “твердолобым консерваторам”! Вот, смотрите, даже “ваш” Астафьев. . . Славили — и ненавидели. . .”<sup>20</sup>

Азадовский в ужасе перед мифическим *русским фашизмом*, хотя на заре нынешнего века русские лишь к национал-патриотизму присматривались, ещё и не помышляя о национализме. Азадовский в ужасе и перед мифическим *русским антисемитизмом*, может, втайне добрым словом поминая большевистское злолетье, когда за антисемитизм расстреливали. Сергей Куняев пишет: “Уж лучше бы он (Азадовский. — **А. Б.**) вспомнил расстрел на берегу Валдая на глазах жены и детей выдающегося русского публициста Михаила Осиповича Меньшикова, объявленного вне закона после известного декрета 1918 года об антисемитизме. Вспомнил бы о расстрелянных и невесть где зарытых людях из “Союза русского народа”, вспомнил судьбы крестьянских поэтов, кстати, героев многочисленных публикаций нашего автора, также осуждённых в том числе по статье “антисемитизм”. Эти действия, причём доведённые до конечного результата, в корне отличались от мифических “погромов”, из которых наш автор только и смог вспомнить приснопамятный “черносотенный” шабаш, устроенный 18 января 1990 года в ЦДЛ, когда погромщики пытались сорвать собрание “Апреля” (движение писателей в поддержку перестройки), и возникшее вслед за этим “дело Осташвили”. И, кстати, не мог автор “Переписки из двух углов Империи” не знать о том, что весь этот “шабаш” был изначально спровоцирован публичным поведением самих “апрелевцев” на сцене, как и то, что единственным настоящей жертвой сего “погрома” стал Константин Осташвили, убиенный в тюрьме”<sup>21</sup>.

### Овсянкинские чтения

Уйма утекла енисейской воды, а чудится. . . впору перекреститься. . . кажется, ещё вчера съезжались писатели, издатели, библиотекари России в городе Дивногорске и селе Овсянка на Всероссийские литературные чтения, где всё было: и душеполезное, и творчески азартное, и честолюбиво суетное, хмельное, и полынно-похмельное. Поклон Астафьеву за то, что в кои-то веки нищие писатели российской глухомани. . . для столицы и вовсе — тмутаракани. . . слетались для творческого, дружеского общения. Несмотря на то, что в России, уже поверженной Мировым Хамом, царили голод, холод, дьявольщина нравов,

внешнее управление, хаос, отчаянье до отупения, уровень литературных чтений был на диво богатый и начальственный; даже сам губернатор Лебедь с армейской хрипотцой и казарменными шутками-прибаутками, с генеральской важностью приветствовал писателей и жал руки тем, кто пробился к нему сквозь толпу журналистов, здешних и столичных. И всё лишь потому, как смекнули ушлые писатели, что ладилось событие под Виктора Астафьева, отчего оно и величалось то Овсянковскими, а то и Астафьевскими чтениями.

Отношение писателей к тем чтениям, ежели говорить, как на духу, было разным: от восторженного до грустного и даже ироничного. Писательская восторженность — от редкостной возможности потолковать с братьями по ремеслу, обменяться книгами, губернскими журналами. Даже тем, кто не разделял поздних воззрений писателя, в радость и счастье было видеть Виктора Петровича, слушать его публичные и застольные речи, сдобренные потешными байками.

Что греха таить, было к Овсянкинским литературным вечерам, да и к Астафьеву, верховоду чтений, и неприязненное отношение, когда, признавая культурную значимость события, иные писатели весьма и весьма скорбели, что и в эту осень на чтения не приехали... или не были приглашены?... бывшие товарищи Виктора Астафьева — писатели, коих Господь одарил не меньшим талантом, коих народ российский читал и любил не меньше, но которых тогдашняя прозападная власть и либеральные беллетристы зачислили в *русские фашисты* и, конечно же, на пушечный выстрел не подпускали к государевой казне и телевидению, что денно и ночью обращало народ в безродное колониальное быдло. Астафьева же подпустила, и не за красивые глаза...

Вот что писала по поводу чтений краевая «Красноярская газета», которую редактировал писатель Олег Пашенко, в добрые литературные времена горячий поклонник Виктора Астафьева: "...Великолепная идея примирения писателей и поддержки библиотек, как было заявлено неоднократно, на практике уже вторично вырождается, простите, в некое небольшое культовое шоу писателя В. П. Астафьева. Очевидно, что памятники при жизни — это не христианское занятие. Невозможно себе представить Василия Макаровича Шукшина, вечная ему память, озабоченного при жизни «Шукшинскими чтениями». Трудно себе вообразить, что Василий Белов сегодня организовал бы под Вологодой «Беловские чтения», а Валентин Распутин в своей Аталанке — «Распутинские чтения»".

Наши лукавые местные доброхоты столпились у ног Виктора Петровича и, заговорщицки подмигивая друг другу, твердят: «Классик наш, классик...» Слушая безудержную хвалу, Виктор Петрович, светлая его душа, наверняка внутренне сжимается, протестует, человеческая порядочность удерживает его от резких слов по адресу льстецов. Памятники творятся с благословения Небесных сил, а не нашими муравьиными потугами. Шумиха, реклама, выпрашивание денег, спекуляция на именах заслуженных людей, которые якобы украсят овсянковские чтения, — это тоже не христианское занятие.

Разумеется, не приехали, как было заявлено, ни Солженицын, ни Распутин, ни Искандер, ни Лихачёв, ни Габриэль Гарсиа Маркес, ни Папа Римский, наконец... Читатели «Красноярской газеты» надеются, что в скором будущем в Овсянку станут непременно приезжать не только сочинители из демократов и экскурсантов, но также в этих литературных чтениях на берегах Енисея будут участвовать Белов, Распутин, Розов, Ганичев, Бондарев, Круглин и другие писатели-патриоты. Пока же из этой славной когорты лишь Валентин Курбатов, да ещё двое-трое приезжают второй раз в надежде, вере и любви. Действительно, мир, пусть и худой, лучше доброй ссоры. (*Верно, Курбатов — мудрёный миротворец, он умудрялся быть другом тогдашнего «либерального антифашиста» Астафьева и «русского фашиста» Распутина, и быть знаменем в стане писателей-русофилов и в стае потаённых русскоязычных писателей, презирающих русофилов.* — **А. Б.**) (...) Отвечаем на многочисленные вопросы: почему нынче опять не навестили Астафьева его бывшие товарищи Белов, Бондарев и Распутин? Вот мнение одного из этих трёх поистине русских писателей, не называем фамилию<sup>22</sup>, думаем, он простит публикацию небольшой цитаты из его частного письма от 28 июля 1998 года: "...призывают и меня прийти к Астафьеву, а для этого приехать в сентябре на овсянковские чтения. Но я с Астафьевым не ссорился. Он со мной, кажется, тоже. Он даже не отказывал мне никогда в некотором писательском даре. Наши разногласия

не личные. И личным братанием их не снять. Я мог бы, скрепя сердце, и обняться с Астафьевым, как сделал это, кажется, в декабре 91-го во время пулатовского писательского съезда, но через неделю-две мне снова пришлось бы писать своё несогласие с тем, что именно принимает он и что жаро утверждает, как народный язык и народную нравственность в литературе. Не считая главного, — его отношения к истории на протяжении семидесяти пяти лет, в которые он жил, родившись в России. Астафьева уже не переделать, меня тоже. Я думаю, что ему и мне будет легче, если мы останемся каждый при себе. Я плохой христианин. Вполне возможно, что в скором времени мы окажемся отнюдь не в раю рядом с Астафьевым, но и там с нас будут спрашивать за разное...<sup>23</sup>

### Астафьев в борьбе с русским национализмом

В письмах Астафьева, собранных в пятнадцатом томе собрания сочинений, в посланиях неожиданных-негаданных единомышленников ощущался демократический... вернее, демонический... воровской переполох перед тогдашним всплеском русского национализма, в коем русскоязычной интеллигенции блазилась фашизм. Напомню, любовь к родной нации — вот суть русского национализма.

Вчерашний пламенный подвижник русского национального возрождения Виктор Астафьев вышел на поле брани против русских националистов — против Белова, Распутина, Проханова, Куняева и других писателей, что вчера были его друзьями, а ныне прослыли его врагами, чумой красно-коричневой. Вспоминая Христову заповедь, мол, не судите, да судимы не будете, упреждая редакцию журнала “Наш современник”, чтобы не переходила на базарный ор и бабий визг, Виктор Петрович так волочит по кочкам братьев по литературному ремеслу, что пух и перья летят. Упаси Бог грядущим читателям судить о писателях девяностых годов прошлого века по астафьевским оценкам...

“Дорогой мой Женя! (Носов. — А. Б.) (...) Фашисты наши во главе с недоноском нашим Пашенко за меня взялись, но я отбиваюсь... Виктор Астафьев”<sup>24</sup>.

“Дорогой Женя (...) Взялись, Женя, и за меня товарищи коммунисты, руками крысиного зверолова Буйлова по наущению и под руководством писательского начальства и других защитников русского народа пишут всякую слякоть, но я не читаю, разумеется, ихних изданий и никогда не отвечаю, так домой звонят. (...) Этого Буйлова, защитника русского народа, по национальности мордвина, за сволочизм по существу выгнали из Хабаровска, а мы пригрели, и я прежде всех... (...) Виктор”<sup>25</sup>.

После романа “Прокляты и убиты” Евгений Носов круто разошёлся со старинным другом, но поначалу мыслил в лад, тоже боролся с *красно-коричневой чумой*: “...Надо пробуждать человеческое, а не славянское. (...) Вот он (писатель Пётр Сальников. — А. Б.) и митингует, костерит демократию, пачкуется в каие-то заговорческие объединения, ездит на собрания каких-то спасателей русского народа, подобно Вале Распутину, которого как-то показали среди отчаянных головорезов вроде кагэбиста генерала Стерлигова, рядом с которым Валя сидел по правую руку. Впрочем, ты меня предупреждал, что ты сознательно не хочешь говорить ничего о политике, и ты, конечно, прав. Злоба — плохой спаситель для народа. Хватит уже крови и революций. Всё ведь просто: отдайте землю народу, отдайте. И народ напашет и насеет всем благополучия и сытости за пару лет. Кто бы к власти ни пришёл, кого бы мы ни тащили на престол — ничего не будет, если у народа не будет земли. Но Валя (писатель Валентин Распутин. — А. Б.), видно, этого понять не хочет, ему слепит глаза смертная ненависть к евреям, потому что он оказался в самых черных рядах заступников, готовых развязать гражданскую войну и новое смертоубийство, которое так рьяно накаркивает Проханов, Валя сподвижник. (...) Не понимаю, как можно сидеть рядом с Прохановым — этим авантюристом, недавним воспевателем милитаризма, киплинговского топота солдатских сапог по сопредельным странам, а ныне размахивающего православными хоругвями во имя даже не социализма, а оголтелого святшества”<sup>26</sup>.

Виктора Астафьева неожиданно взбесил VII съезд писателей России, где звучали речи, подобные его нашумевшему письму Эйдельману, поскольку

нынешний Астафьев в защиту Натана Яковлевича ответил бы вчерашнему Астафьеву похлеще изнеженного пушкиниста, круто посолив, крепко поперчив ответ лагерным матом.

“Дорогой Лёня! (...) Эмигранты на собрании держались хорошо, дружелюбно и как-то встречно расположено, гораздо дружнее и расположенней было, чем на российском съезде писателей, где и писателей-то было раз-два и обчёлся, а остальное – шпана, возомнившая себя интеллигенцией, склонной ко глубокому мыслению и идейной борьбе. Вот только с кем – не рассказывает, и какие идеи – не поймёшь, ибо орёт, бедолага, рубахи рвёт и криво завязанный пуп царапает аль червивой бородёнкой трясёт, как некий Личутин из поморов, обалдевший оттого, что в “писатели вышел”. (...) Ваш Виктор Астафьев”<sup>27</sup>.

“Дорогой Саша! (Михайлов. – А. Б.) (...) Если бы ты знал, как было противно на съезде писателей РСФСР, где, в отличие от тебя, Юра Бондарев умереть готов был, но в начальстве остаться, понимал ведь, что он главный раздражитель шпаны этой, ан не сдаётся, да и только, а там современный идеолог и мыслитель Глушкова бубнит за Россию, Личутин бородёшкой трясёт так, что из неё рыбы кости сыплются, – этот и вовсе не понимает, чего и зачем орёт, лишь бы заметну быть, лишь бы насладиться мстительно званием писателя, употребляя сие звание, в русской литературе почётное, на потеху и злобство шпане, которая и забыла, зачем она собралась на съезд. (...) В. Астафьев”<sup>28</sup>.

“Дорогой Женя! (Носов. – А. Б.) (...) Съезд или то, что было названо съездом, был последним позорищем, достойным нашего времени и писателей, которые это позорище устроили. Раньше как-то незаметней было. А тут сивые, облезлые, старые неврастеники, ещё более пьяные и дурные, чем прежде, дёргаются, орут кто во что горазд, видя впереди одну жалкую цель, чтобы им остаться хоть в каком-то Союзе, возле хоть какой-то кормушки. О-о, Господи! Более жалкого зрелища я, кажется, ещё не видел в своей жизни. Даже в пятидесятых годах, будучи на колхозном отчётно-выборном собрании, которое отчего-то проводилось весной и отчитывался одноорукий председатель, а опившиеся поганой браги с “колобком” и настоем табака колхозники орали что попало, блевали себе под ноги, и дело кончилось тем, что отчаявшийся председатель тоже напился до бесчувствия и ушёл в одной майке в родные поля, уснул на поле, и родной сын его, пахавший на тракторе, зарезал и запахал его плугом. (В письме безсострадательное обличение родного русского народа, когда случайное выдаётся за типичное. – А. Б.). Даже тогда я не испытал такого горя, беспросветности в душе и отчаяния от беспомощности. Наверное, молод ещё был и конца своего и нашего не видел и не ощущал... (...) Обнимаю – Виктор”<sup>29</sup>.

Переключившись с громогласного съезда, где делегаты принародно обвинили тогдашнюю власть в геноциде русского народа, Астафьев ополчился на патриотизм в писательском мире.

“Здравствуй, Валентин! (Сорокин. – А. Б.) Очень хорошо написал ты об Иване Акулове! Вот бы тебе и заниматься делом, какое Бог определил, так нет, давно поражённый зудом вождизма, лезешь ты на все трибуны и трясешь своими седыми патлами, брызгаешь слюной, защищая какую-то, мне неведомую Россию и какой-то, совершенно мне неведомый народ. Уж не гостиницу ли одноимённую с её населением обороняешь ты? (...) Кланяюсь, Виктор Петрович”<sup>30</sup>.

Добродушен был ответ Валентина Сорокина, где сосредоточились преклонение перед астафьевским талантом, жалостливая любовь к народному писателю и ненависть к врагам православного Русского Царства.

С неизменным почтением пишет Астафьеву и Александр Михайлов, хотя и настойчиво критикует взгляды писателя на русский народ, державу, на патриотическое движение в России: “...Вот ты тоже про фашистов заговорил вслед за некоторыми писателями-демократами. Виктор, если бы они были главной опасностью – эти шуты гороховые со свастикой! Да это не в нашей природе, никогда на Руси фашизм не пройдёт, если демократы своим воровством повальным и продажностью, презрением к народу сами не приведут их к власти. Ты обратил внимание, как нынешние политиканы, которым, ради собственных амбиций и корысти, плевать на Россию, вдруг заговорили о патриотизме, прибавив к нему эпитет “просвещённый”? (...) Нет, Витя, не вижу

я просвета для России, для народа, пока эти оборотни у власти. (...) Ал. Михайлов<sup>31</sup>.

Виктор Астафьев, браня державных писателей, порой, может, и заслуженно, смолкает, когда речь заходит о тогдашних властителях дум; о сём и напоминает Александр Михайлов, что долгие годы переписывался с Виктором Петровичем, даже и расходясь во взглядах на русский народ и российских писателей: “Дорогой Виктор! (...) Ты посмотри на писателей-царедворцев, которые шьются возле Ельцина и правят бал. Черниченко – любимый герой телевизора – на втором месте после Жириновского. Разве по лицу не видно, что это больной человек? Это он 3 октября 1993 года призывал по радио “Раздавить гадину!” Нуйкин! Прозелит. Ястреб. Демократ № 2 после Новодворской. Брызжет злобой и отравленной слюной. Он и Алла Гербер (лучше бы – Цербер) заседают в Думе? Стукач Савельев (знаешь такого поэта?) вместе с Оскоцким (знаешь такого критика?) руководят то ли Содружеством, то ли Союзом писателей-демократов... Визжит на встречах с Ельциным Мариэтта Чудакова, просит вернуть старухам “гробовые деньги”, тогда, мол, дорогой Б. Н., они проголосуют за вас на президентских выборах. Да до этого он в вытрезвитель попадёт! (...) Есть и среди нашего брата старики, которые легко приспособиваются. Вот “фронтальная корреспондентка “ЛГ” Ришина (это я так назвал её в печати, когда она писала злобные донесения с фронта борьбы за имущество между двумя Союзами писателей) “наводит” тебя на Гранина, а я, после его вертуханий, уже не могу читать этого господина. Почему? Да потому, что видел, как он чуть ли не в обнимку позировал на телевидении с последним секретарём Ленинградского обкома партии Гидасповым, через год, вместе с Г. Баклановым и Шатровым, тиснули в “Московских новостях” верноподданническую статью на тему “Руки прочь от Горбачёва”, а ещё через год написал холуйскую рецензию на антигорбачёвскую книгу Ельцина, за что был удостоен звания Героя Соцтруда и введён в Президентский совет. После этого, что он ни напиши, я уже ничему не поверю. Всё будет ложь. (...) Поначалуто думал: напишу-ка я своему другу открытое письмо через “ЛГ”, конечно, постарался бы написать его иначе, в ином ключе, да потом рассудил, что мения туда и на порог с таким письмом не пустят. Я знаю, какую роль в редакции газеты играет Ришина (знаю по фактам) – самая яростная русофобка. (...) Ал. Михайлов<sup>32</sup>”.

### **“Наш современник” и “Римское обращение” писателей**

Побег Астафьева из русофильского лагеря выразился в его публичном и шумном разрыве с журналом “Наш современник”, некогда прославившим енисейского сочинителя на весь белый свет; впрочем, и Астафьев, как и другие “деревенщики”, в те лета творили славу журналу. О этом подробно описано в ранее упомянутом очерке главного редактора журнала Станислава Куняева “И пропал казак...”, который двенадцатой главой вошёл в книгу “Поэзия. Судьба. Россия”.

В первой части автор с любовным знанием живописует народный и природный мир, запечатлённый в произведениях Астафьева: “Вот так вошла в мою жизнь проза Виктора Астафьева. Было это аж тридцать лет тому назад. Много с той поры по таёжным рекам воды утекло. Пора подбивать бабки, пока мы ещё в здравом уме и в твёрдой памяти... Позже я почувствовал себя обязанным помочь Виктору Петровичу, когда свора еврейских журналистов набросилась на него, как шавки на медведя, после его разборки с Натаном Эйдельманом...”

Вспомнив дружеские встречи с Виктором Петровичем, вспомнив дружеские письма, Станислав Куняев пишет с горечью: “Однако на рубеже девяностых с Виктором Петровичем исподволь стали происходить сначала необъяснимые перемены. Весной 1990 года, через несколько месяцев после своего прихода в “Наш современник” я неожиданно получил из Красноярска неприятно поразившее меня письмо. “Дорогой Станислав! Ещё осенью узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии “Нашего современника”, решил выйти и я. (...) Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, – в “Новый мир”...” Думаю, что дело здесь было не в Залыгине, а в том, что я ввёл в редколлегию журнала нескольких близких мне



людей (В. Кожина, И. Шафаревича, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко, А. Проханова), к творчеству и направлению мыслей которых Виктор Петрович, чувствуящий, что “демократы” одолевают, начал относиться с осторожностью. Вскоре в еженедельнике “Аргументы и факты” Астафьев сказал нечто резкое и несправедливое по поводу “Нашего современника”: “Я всё время мягко и прямо говорю “Нашему современнику”: ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню... Быть может, с этого и началось у меня охлаждение к журналу”<sup>33</sup>.

Станислав Куняев, будучи и редактором “Нашего современника”, и поклонником астафьевской прозы, пытался образумить беглеца, вернуть в журнал: “Виктор Петрович... я тебя считаю и всегда считал самым значительным писателем со времён, как прочитал “Царь-рыбу” и “Последний поклон”, я сам писал об этом, сам безо всякой дипломатии защищал твоё имя после яростной кампании против тебя, развязанной Эйдельманом и прочими... Так что забудем о всяких “подворотнях” и сплотимся перед грядущими суровыми временами”.

В ответ на письмо Астафьев властно потребовал вывести его из редколлегии журнала “Наш современник”... Но и после сего Станислав Куняев ещё не терял надежды вернуть мятежного писателя в “Наш современник”: “В очередной раз мы встречались с Виктором Петровичем на VII съезде писателей России. “Виктор Петрович! — набросился я на него с места в карьер. — В этом году журнал опубликовал обращение к народу Патриарха Тихона, несколько самых ярких речей Столыпина, главы из “Народной монархии” Ивана Солоневича, две прекрасных статьи Валентина Распутина, “Шестую монархию” Игоря Шафаревича о власти жёлтой прессы, изумительное исследование Юрия Бородаева “Нужен ли православному протестантский капитализм?” А Ксения Мяло — размышления о немцах Поволжья — в защиту русских! Мы засыпаны благодарными письмами после этой статьи! Как же можно после этого говорить о том, что наша публицистика — “подворотня”?!”

Увы, “безпроклыми” оказались все попытки Куняева и писателей-“деревенщиков” вразумить вчерашнего “черносотенца”, ныне впавшего в лукавый либерализм; оставалось лишь гадать о причинах столь крутого идейного поворота: “Как только советская власть закачалась, Виктор Петрович закрутился: на кого в случае её крушения надеяться, от кого получать ордена, премии и прочие льготы, к которым он так привык. И первую ставку Астафьев сделал на новую возникающую силу русских националистов. Отсюда и отчаянная храбрость в переписке с Эйдельманом, и перепалка с грузинами, и, наконец, прямая поддержка “Памяти”, растущей тогда, как на дрожжах. Но вскоре стало ясно писателю, что не на ту лошадку поставил, что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и, начиная с 1989 года, постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту”.

И в сём мудром решении Астафьев, как смекнули русские националисты, утвердился на встрече “красных” писателей с литераторами Русского Зарубежья, которая случилась в октябре 1990 года в Риме. В ходе встречи прошла конференция представителей советской и эмигрантской творческой интеллигенции “Национальные вопросы в СССР: обновление или гражданская война?” И хотя обозначены были затейщики и покровители конференции — газета “Комсомольская правда” и журнал “Континент”, — в реальности же, как писалось в русских газетах, то была основательно продуманная, дорогостоящая акция, разработанная в западных спецслужбах и в кабинете члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева, главного идеолога, архитектора сокрушения Красной Российской Империи. По завершении встречи творческая интеллигенция подписала документ, вошедший в мировую историю как *Римское обращение*, где подписавшие заживо хоронили Российскую Империю, впрочем, уже обречённую на мучительную насильственную гибель. Интеллигенты повелевали вождям грядущего *россиянского* государства избавиться от пороков Империи зла: от “имперского тоталитарного мышления, от применения насилия, от угнетения национальных меньшинств”. Среди подписавших Римское обращение рядом с Иосифом Бродским, Анатолием Стреляным, Эрнстом Неизвестным, Григорием Баклановым, Владимиром Буковским и прочими тогдашними прозападными либералами оказались... видимо, по недомыслию... и русофилы Солоухин и Крупин. Бог весть, о чём думал Залыгин, подписывая *Римское обращение*, Астафьев же, похоже, вполне осознанно

подмахнул бумагу, поскольку люто возненавидел горячо любившую его Красную Империю.

Смысл зловещего *римского* фарса разгадала писательница Татьяна Михайловна Глушкова, и её страстное, обличительное слово на VII съезде писателей России прозвучало как отповедь врагам Государства Российского и покаянный поклон народу русскому: “Римское обращение” демонстрирует такое отношение к нашей стране, которое до сих пор было свойственно только её врагам, только клеветникам и злопыхателям России. (...) И да будет стыдно тем, кто клеветает на русский народ, намекая с прозрачностью на имперское господство русских над другими нациями в СССР!”

### **“Письмо к народу”, “Письмо 42-х “Раздавите гадину” и расстрел народных избранников**

Вскоре после громкого писательского съезда, а вернее, 23 июля 1991 года в газете “Советская Россия” увидело свет знаменитое “Слово к народу”, где русские политики и русские писатели Юрий Бондарев, Александр Проханов, Валентин Распутин выступили за сохранение государства, поскольку в случае его крушения под обломками погибнут миллионы соотечественников. Так оно и вышло потом...

“Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение историей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие, — говорилось в “Слове к народу”. — Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на части страну, сороят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего, обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всемогущих соседей? <...> Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом наш уже горит с четырёх углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью. Неужели допустим вторично за это век гражданский раздор и войну, снова кинем себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится стеновой хребет России?..”

Письмо в либеральной печати стали рассматривать как идейную основу августовского дворцового заговора, тем более что среди подписавших оказались Валентин Варенников, Василий Стародубцев и Александр Тизяков, которые потом проходили по делу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Авторы “Слова к народу” обвиняли Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва в том, что при их попустительстве, а вернее, тайном сговоре с враждебным Западом, страна превращается в сырьевую колонию Европы и Америки, что межнациональные и бандитские разборки, криминальный беспредел, пьянство и наркомания, голод и холод, тоска и отчаянье от беспроектной жизни уносят тысячи человеческих жизней.

“Слово к народу” породило истерику среди властвующих либералов, проклиная тех, кто подписал сие *имперское* послание. Виктор Астафьев немедленно дал интервью телевизионной программе “Вести”: “Лицемерие, которого в общем-то свет не видел... обращаются с грязными руками... они, вчерашние коммунисты, разоряли, унижали, расстреливали... старая коммунистическая демагогия... не верьте ни единому слову... это голый обман... коммунисты, компартия наша на ладан дышит... попытка защитить тонущий корабль... наглость от имени народа говорить. От имени народа может говорить избранный народом президент. Это “Слово” рассчитано на тёмную силу, которая есть в любом государстве... я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести... [Валентин Распутин] ставит подписи под самыми чёрными документами...” Напомним, ещё вчера Распутин и Бондарев были заветными друзьями Астафьева, а ныне стали врагами; и Виктор Петрович упрёк Ельцина в мягкотелости по отношению к врагам, пугая кровавым русским бунтом: “Если президент и его правительство будут и дальше действовать уговорами, увещеваниями, анкетами, восторжествует самая оголтелая, самая тёмная сила. И заговорит она пулемётами, танками, колючей проволокой”.

Президент внял упрёкам и из танковых пушек расстрелял Белый дом, где помещался Верховный Совет России, расправился с народными избранниками.

Противники политических насилиий, призывающие казнить русских патриотов, писали в пламенном послании: “Эти тупые негодяи (Георгий Свиридов, Леонид Леонов, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Личутин, Александр Проханов и другие русофилы. — А. Б.) уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?!”<sup>34</sup>

Позже Василий Аксёнов похвалялся: “Этих сволочей (русских националистов. — А. Б.) надо было стрелять. Если бы я был в Москве, то тоже подписал бы это письмо в “Известиях”. В связи с этим заместитель главного редактора “Независимой газеты” Виктория Шохина 3 октября 2003 года, осуждая роспуск парламента, выразила со страниц этого издания недоумение, как это “всем этим писателям-демократам, объявляющими себя противниками смертной казни”, “гуманистам”, “пришёлся по душе расстрел без суда и следствия”. Она отметила, что “их собственное правосознание безнадёжно застряло на первобытном уровне. Политик Сергей Глазьев, будучи министром внешнеэкономических связей России, в 1993 году в знак протеста против роспуска Верховного Совета подал в отставку с заявлением: “Нельзя обелить преступников и палачей... Даже те, опозорившие себя надолго деятели нашей культуры, которые подписали это, как вы назвали, расстрельное письмо 42-х, и они, я думаю, понимают, что перечеркнули всё доброе и светлое, что создано было ими раньше”.

И верно, уже не хочется слушать слащаво приторные песенки Окуджавы; чуешь подпольный смысл зова “возьмёмся за руки, друзья”, где друзья, похоже, — доморощенные русоненавистники из “рассеянного народа” и шустрые шабесгои<sup>35</sup> — Иваны, не помнящие родства, без Бога и царя в голове. “После подписания письма и интервью, в котором Булат Окуджава одобрил применение силы против Белого дома, на концерте поэта в Минске прекрасный артист Владимир Гостюхин — человек умеренно-патриотических убеждений — публично сломал и истоптал ногами пластинку его песен”<sup>36</sup>. По словам социолога Бориса Кагарлицкого, “слушать песни Окуджавы про “комиссаров в пыльных шлемах” после его заявлений о том, что ему не жалко безоружных людей, погибших в Белом доме, как-то не хочется”<sup>37</sup>.”

Диакон Владимир Василик в статье “Письмо 42-х или О “мастерах культуры” писал: “После расстрела законно избранного Российского парламента было опубликовано письмо 42 видных деятелей культуры с полным одобрением всего совершившегося. Знаменателен был сам заголовок письма — “Раздавить гадину”. В своё время этот призыв, обращённый против Католической церкви, провозгласил “дьявол во плоти” Вольтер, и, вняв ему, революционная Франция в годы террора казнила тысячи католических священников и десятки тысяч мирян. Позднее этот лозунг звучал и в 1917 году, и в 1937-м, когда расстреливали “врагов народа”. (...) Как это было, вспоминал Александр Проханов: ворвавшись в редакцию газеты “День” бойцы ОМОНа избивали журналистов, глумливо расклеивали портреты Гитлера и кричали “фашисты”. Всё в духе авторов письма, назвавших фашистами защитников законной конституционной власти, своих же соотечественников, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с фашизмом. (...) Даже бывшие диссиденты, такие как Андрей Синявский и Владимир Максимов, поступили совершенно неожиданно. Они публично призвали Ельцина после всего совершенного им уйти из власти, отправиться в монастырь и замаливать грехи”.

Среди вдохновителей расстрела народных избранников, а заодно и всех видных русских националистов, увы, оказался и недавний русофил Астафьев. Виктор Лихоносов, писатель лирический, чурался идейной брони, но и тот встревожился за Астафьева, когда почитал его роман о войне, когда узнал о сожалении писателя, что советская страна не сдала фашистам Ленинград, когда увидел астафьевскую подпись под “расстрельным” письмом “Раздавите гадину”, где *гуманная русскоязычная* интеллигенция в октябре девяносто третьего велела власти утопить в крови русское сопротивление. “Что с тобой случилось, Виктор Петрович? — вопрошал Виктор Лихоносов. — Прости, но я думаю, виновато твоё безбожие. Ты в Бога веришь литературно, как-то от ума, хотя ты в своей жизни страдал столько, что душа твоя только в Боге

могла бы и успокоиться. Отсюда твоя постоянная остервенелость (да ещё у Б. Можаяева), какая-то не свойственная русскому большому писателю страсть казнить всё по-большевистски и обретенная под шумок славы привычка вещать, ничего уже не говорить в простоте. А только для народа, для переворота системы, мессиански”.

Эдуард Володин, давно уж почивший, известный русский философ, публицист, проповедник православно-самодержавного, имперского устройства Русской Земли, писал в статье “Иудино время”: “Суета вокруг Виктора Астафьева заставила вспомнить его последние подвиги, художества и достижения. Без всякого сомнения, талантливый писатель, автор “Царь-рыбы”, “Пастуха и пастушки”, “Оды русскому огороду”, ставших достоянием нашего национального самосознания, он вместе с горбачёвской перестройкой резко поменял позиции и применительно к подлости заверещал о вечном пьянстве и рабской душе русского народа, о семидесятилетнем рабстве, о благой вести, возмещённой в августе 1991 года с танка Ельциным. (...) Такой кульбит, вполне ожидаемый людьми, близко знавшими В. Астафьева, не был сразу по достоинству оценён “демократами” и их апрелевской литературной службой, и все старания старого человека показать себя своим среди своих “демократов” воспринимались ими с прохладным недоверием. Но пришёл звёздный час “прозревшего” литератору! Перед кровавыми событиями 1993 года Б. Окуджава, Р. Казакова и ещё полсотни им подобных написали открытое письмо Ельцину с призывом потопить в крови “красно-коричневых”. Все фамилии были напечатаны в алфавитном порядке, но на последнем месте стояла фамилия В. Астафьева. Его приняли, наконец, в свои ряды, но и указали на место, где ему быть положено”.

### Астафьев и Ельцин

На моей памяти, пожилой мужик прихварывал, а помереть не мог, работа не давала; до девяноста пяти лет срочная работа держала — плотник же, нарасхват: внуку, свату, брату — всем надо избы срубить со стайками и банями, а потом сподобиться и возвести храм сосновый... Астафьев, мужик усидчивый, славился редкостным писательским трудолюбием; и может, потому Спас и даровал изрядный век мужику, раненному, контуженному, вдосталь хлебнувшему фронтового лиха, чтобы мужик, вспахав, заборонив и засеяв поле живым словом, собрал и щедрый урожай, а говоря проще, завершил труды над пятнадцатью книгами.

На исходе Овсянкинских чтений писательской братии и вручили роскошно изданное собрание сочинений Виктора Астафьева в пятнадцати томах. О ту лихую, голодную пору для иного, даже известного, но не либерального писателя издать простенькую книжонку, хоть в мягком переплёте, смахивало на чудо; а уж о собрании сочинений, кажется, даже именитые робели мечтать. Но ложка дёгтя портит бочку мёда, а посему жаль, что Астафьеву для издания роскошного пятнадцатитомника пришлось сочинить, — а может, вымучить? — и включить в собрание верноподданнический очерк о том, как приезжал в Овсянку Борис Ельцин, которого русский народ о ту пору уже “повеличал” Паханом, что бросил Российскую Империю на разграбление и растерзание домощенным и забугорным мародёрам, утопившим народ в крови и слезах. По Астафьеву же, Ельцин, яко ангел, замордованный русским народом, “давно уже впавшим в рабский маразм”. Вероятно, и в прошлом веке пели оды советским вельможам известные писатели — пели из великого почтения, пели из корысти, из подобострастия, но странно было слышать подобное от Виктора Астафьева, гордого и вольного, с бранью проводившего былую Народную империю, что в люди вывела его, сермяжного мужика, вознесла из деревенской грязи в мировые князи.

“...На этого дядю (Ельцина. — А. Б.) валить все грехи, который имел глупость возглавить вконец расшатанное, насквозь прогнившее, в большевистской помойке протухшее общество, ныне легко — сам разрешает. (...) Трудящиеся жаловались потом, что вместо того, чтобы “поговорить по-человечески”, я их чуть ли не матом крыл. Ну и пусть, **что от них ждать, от наших трудящихся, давно уже впавших в рабский маразм и годных орать в бане, в огороде иль за пьяным столом.** (Выделено мной. — А. Б.) В рассказе о приезде президента в Овсянку я упустил одну важную для этого

издания решающую строку. Надо и пора, и тут к месту написать о том, что было в самом конце разговора с президентом. Уже мы поднялись и пошли было из библиотеки, как президент приостановился и спросил меня: “А что у вас с собранием сочинений, Виктор Петрович? – А ничего, лежит. Денег нет, важные спонсоры, не начав дела, слиняли”. – “Ну, как же так, отчего же не обратились в правительство, ко мне, наконец, у нас же есть федеральная программа по культуре, мы бы вас туда включили. Это никуда не годится, издадут чёрт знает кого, а вас-то, вас-то...” – И на ходу уж указание управделами: “Записать?” (...) Откуда Ельцину стало известно о моём собрании сочинений? Не знаю. Нашлось несколько деятелей из местной руководящей братии, которые якобы ему “подказали”. (...) Читает ли президент? После таких “интеллектуалов”-вождей, как безграмотный Хрущёв и самовлюблённый Брежнев, которому из-за любования собой не до книг было, и Горбачёв, и Ельцин кажутся куда как развитами людьми. Я пишу всё это в тот период, когда Россия снова охватила смута, и кто только не поносит Ельцина и не желает ему гибели. Всё это по-нашенски, по-русски, и всё это напоминает мне басню бес-смертного, всегда своевременного батюшки Крылова о том, как могучий Лев (*Ельцин. – А. Б.*) ослабел, заболел и всё зверьё (*народ России. – А. Б.*), что трепетало перед ним, давай его облаивать, лягать, пинать, оплёвывать. Видит Лев, и Осёл (*русское простолюдьё. – А. Б.*) в числе других целится его лягнуть, и тогда он взмолился, воззвал к небесам, чтоб те поскорее послали ему смерть. Не по силам ему оказалось тащить телегу в гору на одном колесе, остальные колеса промотали, пропили, растащили, надорвался от тяжести, ему неподъёмной. Но в пору не нашлось более такого безумца, который бы так храбо подставлял свою спину под российский тяжкий воз...”<sup>38</sup>

Ельцин рвался к власти, а потом грозился лечь на рельсы, если цены на продукты и товары первой необходимости повысятся; но цены так выросли, что голодный народ забегал в магазин, как в музей здорового питания. А Борис Николаевич на рельсы не лёг, но с той поры все рельсы, брошенные, заросшие дурнопьяной, лихой травой, стали дразнить “ельцинскими”. А горбачёвско-ельцинское время я эдак прописал в очерке “Спасите души русские”:

“С надеждой на отца народа, Помазанника Отца Небесного и выживает простолюдьё, а то и просвета в ночи не зрело душевными очами; под звериное рыканье кремлёвского самозванца, самохвала полтора десятилетия холопы тьмы и смерти похабили и грабили Россию, уже, вроде, лежащую на смертном одре под святыми ликами; хитили воры российское добро, что отичи и дедичи кровью и потом добывали, и для содомской утехи и потехи изгальялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. О ту злосчастную, лихую пору смешно и грешно было бы стучаться в кремлёвские ворота с народными бедами; сё походило бы на то, как мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины пишут челобитную германскому наместнику, лепят в глаза правду-матку и просом просят заступиться: мол, наше житьё – вставши и за вытьё, босота-нагота, стужа и нужда; псари твои денно и ночью батогами бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом – то содом, всякий двор – то гомор, всякая улица – блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихоимцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя... Повеселила бы мужичья челобитная чужeverного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу – оставил хвост да гриву...”

Накануне расстрела Белого дома, что, разумеется, случилось по велению Ельцина, Астафьев хлопочет за Бориса Николаевича: “Ничего другого не остаётся, как идти и голосовать за президента Ельцина – в нём пока единственная надежда на мир в России”<sup>39</sup>.

Либерально-буржуазная власть высоко и обильно оценила писателя за поддержку: премия “Триумф” Бориса Березовского (1991); Государственная премия Российской Федерации за роман “Прокляты и убиты” (1995); Пушкинская премия фонда Альфреда Тепфера (ФРГ; 1997); орден “За заслуги перед Отечеством” II степени (28 апреля 1999); Государственная премия Российской Федерации (2003 – посмертно); премия Александра Солженицына (2009 – посмертно).

## Правда жизни и обличения ближних

Верноподданнический очерк о Ельцине – ложка дёгтя в бочке мёда, черпаком же стали поздние злые сочинения, и переписка, собранная в особый том, где Виктор Петрович и его соратники так круто расправились с родным народом и русскими писателями, что в иные времена эдакий гнилой русский народец и эдаких поганых писателей скопом бы прислонили к стенке, щербатой от пулевых ранений, в подтёках русской крови. Письма, статьи, главы поздних сочинений, где гневно обличается родное простолюдье, а заодно и глашатаи русского национализма словно выражены прозападным либералом, которого бы сам Астафьев в прошлые годы намалевал такими угольными красками, что померк бы даже философствующий циник, жуткий тип Гога Герцев из повествования “Царь-рыба”. Уж так бы Виктор Петрович изукрасил чужебца-западника, словно вымазал бы дегтем ворота океянной блудницы. Обличая родных и близких, Астафьев, уже знакомый с Благой Вестью, ведал же заповедь Христа: “Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете” (Лк. 6:37). Да и помнил писатель, что Пушкин, проповедуя русский дух в родной словесности, “милость к падшим призывал”, а потом и молился, прежде чем, очинив гусиное перо, окунуть его в чернила: “Веленью Божию, о муза, будь послушна...”

Словом, не всё в собрании сочинений *собралось* равноценное по духу и слову; может, то, что писатель высоко возносил в честолюбивом воображении, не коснулось читательских душ; и наоборот, над сочинениями, кои он дешёво ценил, народ, читая, ликовал и плакал слезами, очищающими душу: “Блаженны плачущие, ибо они утешатся” (Мф. 5:4). Увы, случается, и писателю не дано знать, как его слово отзовется. Разве гадал Антон Чехов, что крещёный люд, не осилив смутных пьес, вдруг примет в сострадательную душу простенький сказ про горемычного Ваньку Жукова...

Хотя в пятнадцати томах далеко не все сочинения – шедевры, но и достаточно произведений, – вспомним “Последний поклон”, “Царь-рыбу”, “Оду русскому огороду”, – благодаря которым Астафьев справедливо украшает череду выдающихся русских писателей второй половины XX века, где Шергин, Шукшин, Абрамов, Носов, Белов, Распутин, коих критики нарекли “деревенскими” писателями.

Вошли в собрание сочинений и последние произведения Виктора Астафьева, где много жестокой правды жизни, – произведения, что, по суждениям даже иных почитателей Астафьева, в духовно-нравственном и художественном отношении уже не взошли до вышепомянутых талантливых сочинений, ибо не в голой правде лишь, злой и мстительной, величие художественного произведения, а ещё и в том, смог ли писатель вообразить в душе народно-православный идеал, смог ли отобразить идеал высоко и ярко, словно в проповеди боговдохновенного святого старца, дабы идеалу сему подражали ныне и завтра жители грешной земли. А голая правда – что? Ничто!..

Русский народ – не дикарь с дубиной, уже в древние языческие времена ведал нравственные идеалы, по духу близкие православно-христианским, и воплощал идеалы в легендах, мифах и сказках. Иванушка-дурачок – простой и безсребренный, чудной и чудный, отдающий прохожему, хоть эллину, хоть иудею, последнюю рубаху, – вот русский национальный идеал, вот предтеча святых яродов во Христе, подобных Василию Блаженному, коим на Руси возводили храмы; вот образ богоносного русского народа, являющего собой мировую совесть и безкорыстную, безмерную любовь к Богу. Иванушка-дурачок так напоминает читателю русских сказок убогих, живущих у Бога Христа ради. Иванушка и ближних-то любит, словно по заповеди Христа, больше, чем себя самого, хотя и не труя о сём на перекрёстках улиц, ибо “когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (Мф. 6:3,4).

Не во грех художнику обличение родного народа, ежели обличает с любовью сострадательной, с готовностью оборонять народ, не жалея живота. Бранить ближних можно и от великой, болящей любви к ближним, от ярого желанья, чтобы ближние жили не в земных похотях, но ради спасения души – в смирении, покаянии, благочестии, благодеянии Христа ради. Сын, со слезами любви обличая мать, заблудшую в грешном мире, не унижает мать,

но спасает, ибо и святые отцы обличали народ. Откроем “Паисиев сборник” и вонмем: “Слабо живут, не слушая божественных словес; но если плясцы или гудци или какой иной игрец позовёт на игрище или на какое сборище идольское, то все туда идут с радостью — а во веки мучимы будут — и весь тот день проводят на позорищах. А идти в церковь и чешемся, протягаемся, дремлем и говорим: то дождь, то студёно или иное что, и всё то кажется нам препятствием. А на позорищах нет ни покрова, ни затишья, и ветер шумит и вялица, но всё сносим, радуясь, и позоры делаем на пагубу душам. А в церкви и покров, и заветрие дивное, а не хотят идти на поучение, ленятся”.

Выше помянуто *обличение* Христа ради, лишь во спасение души падшего; иначе обличал простолюдье простолюдный писатель в письмах, речах, статьях и художественной прозе. Повторю обвинение, ставшее крылатым: “Что от них ждатель, от наших трудящихся, давно уже впавших в рабский маразм и годных орать в бане, в огороде иль за пьяным столом... Виктор Астафьев”<sup>40</sup>. “Дорогой Саша (*Михайлов. — А. Б.*). (...) В сущности, при всеобщем-то образовании, порой и “вышем”, но без Бога в сердце и без царя в голове, народ наш остался ещё более невежественным, чем это было в царской безграмотной России... Твой Виктор”<sup>41</sup>.

С зачином мысли, слегка славянофильской, можно бы и согласиться, коли бы не приписка про народ “царской безграмотной России”, из чего вытекает, что народ русский, создавший необозримое и сверхгениальное устное поэтическое и прочее искусство, святыми отцами повеличенный *богоносным*, жил невежественно в царской России, в советской же впал в пущее невежество.

Наперебой подпевали Астафьеву литературные причиндалы, что пытались просиять, посягать в астафьевском сиянии, по пути и зашибить копейку на восхвалении енисейского классика. В письме его соратника, смутного, похоже, затаённо либерального русскоязычного писателя Михаила Кураева с помощью Чехова, увы, мало добра высмотревшего в русском простолюдье, изуверски изошрённо оправдывается русофобия, и русские вдруг *величаются* свиньями: “Я тут давно задолжал питерскому журналу “Звезда” статью о Чехове. Никак не мог “разродиться”. Увидел памятник в Красноярске, сел и написал. (...) Решил показать это сочинение Вам. Естественно, перечитывая письма Чехова с ощущением близости Астафьева, натолкнулся на его “руссофобию”, как он нашего брата костерит, и никто из высокоумных и бдительных, м. их е. (*Здесь питерский книжник, подыгрывая Астафьеву, вводит подзаборный мат, где святотатски хулитися и мать всякого человека, и Божия Мать. — А. Б.*), не спешит спастись русских от Чехова! Теперь, когда в моём присутствии начинают говорить об “обидчике” малых сих Астафьеве, я задаю вопрос: как бы вы отнеслись к человеку, писателю, который назвал бы людей целой нации свиньями? Ну, тут начинаются танцы индейцев: “Гнев”, “Негодование”, “Позор на его голову”. Я им цитирую Чехова и предлагаю заняться его воспитанием немедленно. Вот как полезно перечитывать классиков... Ваш Миша Кураев”<sup>42</sup>.

Вторит Кураеву и некий Миронов: “Народ [русский], в рабстве пребывающий, не может быть великим. (...) В. Миронов”. Виктор Петрович соглашается: “В России настоящей демократии никогда не было, и вряд ли в обозримом будущем она у нас появится. Демократию надо выстрадать (...)”. Для этого надо быть зрелым народом”<sup>43</sup>.

Читая безжалостные обличения человека, и особо *недозрелого*, невольно вспоминаешь помянутые выше слова Личутина: “И за что Вы, Виктор Петрович, не любите народ русский?!” Об этом со скорбью говорят Астафьеву его бывшие почитатели, и письма их, как ни странно, тоже включены в собрание сочинений.

“В одном не могу с Вами согласиться. “Что за чудище человек-то!” — восклицаете Вы. Да, чудище он бывает, конечно, обло, озорно и пр., но не всякий же, не каждый. Не мне Вам рассказывать (...) — каков он, человек, бывает непостижимо хорош. (...) Это Вы совсем не правы, что Господь обрёл человека на гибель; тогда зачем было создавать его? (...) Жалеть их надо, этих чудищ, уже и за то, что они чудища, ведь они уже в себе, в душах своих носят готовый ад, сами себя к нему готовят, как их не жалеть. (...) Жалость возвышает человека. (...) Ваш В. Непомнящий”<sup>44</sup>.

“В своём письме Вы опять никак не отрицаете тех моих обвинений в не любви к России и русскому народу, которые Вы публично высказывали и вы-

сказываете, в расхождении на этой почве с “[Нашим] современником”, Распутиным, Беловым, Крупиным, Бородиным, которые совсем недавно были Вашими ближайшими друзьями и единомышленниками. (...) Ваш Куликов”<sup>45</sup>.

“Уже в публикации “Огонька” (июль-93) я услышала “нотки” голоса совершенно другого человека, а потом – примитивно-пустотелая рекомендация с телеэкрана: “Работать надо!..” Виктор Петрович, у нас на Руси это делать умеют, как умеют и эксплуатировать этот труд. Да, Вы варварски ранили “мальчика в белой рубашке”. Не знаю, ожил ли он? Ну, да Бог Вам судья. Прощайте, писатель Астафьев. Августа Михайловна Сараева-Вондарь”<sup>46</sup>.

\* \* \*

Николай Гоголь в исповедальной повести “Выбранные места из переписки с друзьями” по сути отрёкся от своей *обличительной* поэмы “Мёртвые души”, где русский народ, по Достоевскому, богоносный, – скопище безпросветных моральных уродов, над коими писатель не по-христиански безжалостно и гениально насмеяется. Слава Те, Господи, Николай Васильевич в прощальной повести-плаче выразил покаяние, как, думаю, и в церковных исповедях; а покаялся ли в подобном *безжалостном обличении* Астафьев?.. Может, и покаялся на смертном одре, когда лежал под святыми ликами и ожидал... рождения для вечности.

Достоевский возглашал: живописно обличая народ, утопающий в похотях земных, писатель, живописуй и покаяние ради спасения; запечатлей благочестие и праведника, без коего село не стоит, ибо, словно иерей либо архиерей, ответишь перед Богом за все души, в кои посеешь зерно писательского слова. “Простец согрешивший за одну только свою душу даст ответ Богу, а иереи будут истязаны за многих, как нерадевшие о овцах, с которых собирали млеко и волну (шерсть)...” (Из *Духовного завещания святого Митрофана Воронежского*).

Да, всякий смертный ответит пред Господом за своедушные грехи, а писатель ещё и за грехи книжечеев, коих искусил, скажем, равнодушием к ближнему и Вышнему; а посему воспетая обличителями *правда жизни*, – а и правда ли полная?.. – *правда жестокая, тупиковая, – богопротивна*, ибо засекает в читательские души лукавые и хульные помышления от окаянного сердца и помрачённого ума, грешное унынье, апатию, отчаянье, разочарование даже в братьях и сёстрах во Христе. Вспомнилась лихая надпись на заснеженном окне полупустого, полуночного автобуса: “*Чем больше я гляжу на людей, тем больше мне нравятся собаки...*” – и подумалось: “Вот так же, глядя на земляков, мыслят и некие писатели, коли выстудилась лихими ветрами любовь и сострадание, прощение и снисхождение к ближним. А Господь что говорил?.. А Господь умолял: “Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Лк. 15, 12-13); “Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас” (Мф. 5:44)”.

Увы, ожесточилась писательская душа, глядя на падших соотечественников; увы, трудно отыскать в закатных произведениях Виктора Астафьева героев, достойных подражания, не говоря уж об идеалах. Благо, что ранее писатель искренно и нежно воспел бабушку в “Последнем поклоне”; а бабушка, подобно старухе Анне из “Последнего срока” Валентина Распутина, нравственно идеальна на фоне нынешнего молодняка, увязшего в тине пороков, воспетых и вознесённых в *земные радости*. Читаешь Астафьева и чувствуешь: ранние произведения писатель рождает с любовью, порой и опечаленной, поздние – с тяжёлым сердцем, с обидой и гневом даже на родной народ.

Повинив Астафьева в охлаждении любви к ближнему, вдруг спохватился: а имею ли я моральное право эдак судить писателя?.. Вспомнились слова Петра Краснова, чтимого мной прозаика, вставшего грудью за Астафьева: “Что касается политики, то тут я, Виктор Петрович, на одном стою, одно говорю соратникам, да и всем: мы Астафьеву не судьи, мурцовки не пробовали, и не надо его трогать. (...) Ваш Пётр Краснов”<sup>47</sup>.

Не о писателе, но о писательских идеях народ будет судить в земное и загробное обитание властителя дум; это право читателя, критика, историка



и литературоведа, даже если те и не *хлебнули мурцовки*. Испокон литературного века то, что он *хлебнул мурцовки*, не наделяло человека, а тем паче сочинителя полномочиями безжалостно судить родной народ. Фёдор Достоевский вдосталь хлебнул горя горького; если и не воевал, как Виктор Астафьев, то пережил не менее жестокие испытания: мука ожидания казни, потом каторга, где нагляделся на подлых каторжан, на воров и душегубцев, настрадался от них, будучи натурой болезненно чувствительной, нервной, мучительно переживающей окружающий мир. Но описывая *правду* каторги в “Записках из мёртвого дома”, Фёдор Михайлович, говоря по-нынешнему, не утонул в безпросветной “чернухе”, как Астафьев в романе “Прокляты и убиты”, а, будучи боголюбивым и человеколюбивым, нашёл в душе силы для любви и сострадания к ближнему, даже и нравственно больному, увязшему в грехе, и там, среди падших, высмотрел и воспел людей, в душах которых, словно в разбойнике Кудеяре, пробудились раскаянье и дремавшая любовь к ближнему и Вышнему. Да и в других произведениях, откровенно показывая ужасы нищенского бытия и бездонную бездну падения русского человека, что мечется меж Богом и мамонной, Фёдор Достоевский воспел и такие занебесные взлёты русского духа, какие не снились европейскому обывателю, озверевшему в погоне за хлебом единым и поганым зрелищем и разомлевшему в тупой сытости. Достоевский понимал, что назначение искусства, если оно не от *искусы лукавого*, не столь в описании *жизненной правды* — лишь обличением доброго семени в душе не посеешь! — сколь в создании идеала, в изображении праведника, без коего мир погибнет, подобно ветхозаветным городам Содому и Гоморре, насельники коих, забыв о Боге, о праведной жизни, утопали в поганых похотях.

Пренебрегая *правдой жизни* ради утверждения христианских заповедей в миру, уходя от смуты души своей, Достоевский, случалось, и выдумывал молитвенных праведников, вроде Алёши Карамазова либо князя Мышкина, какие, похоже, не обитают в миру, спасаются в глухотных скитах и диких пустынях. Сочиняя юродивых праведников, Достоевский полагал, что писателю надо изображать русского человека и *натурального*, и *каким он, по Божию промыслу, мечтает быть*; а в боговдохновении русский блажен и свят, и породил великую святость, отчего и повеличался богоносным. Сочинение идеала, конечно, не означало уход от *правды жизни*, но творческая мудрость художника таилась в том, чтобы *голая правда жизни* не заслоняла праведника, не топила идеал в мусорном потоке запечатлённых страстей и похотей.

Виктор Астафьев в поздних произведениях, сознательно ли, бессознательно, художественный талант утрудил не для воспевания праведника, а на суровое обличение народа, отчего в слове рухнула живописная гармония Света и тьмы, и проза стала утрачивать бывшее народное любомудрие, свет и красу. В *обличительных* речах и письмах Астафьева словно выстудилась на лихом и ветреном перевале веков былая сострадательная любовь к ближним и даже родным деревенским. А ведь и по сочинениям, посланиям, прилюдным речам писателя дотошные историки будут судить о русском народе, попутно и о литераторах второй половины XX века. И в лад иным астафьевским суждениям грядущие поколения русских могут и поверить, что родной народ — *тупой, хмельной и ленивый*, а Валентин Распутин — *русский фашист и юдофоб*. А не будет ли то искажением русской истории и русской судьбы?! Обретя эдакую *правду* о родном народе, не застыдится ли читатель родного народа и русскости своей? Упаси Бог, но о сём веками мечтали враги Земли Русской. . .

### “Прокляты и убиты”

Посчастливилось мне, грешному, водить дружбу с фронтовиком Алексеем Зверевым. Писатель тихого, светлого дара, для России маловедомый, судьбу которого запечатлел я в очерке “Люблю я сторону родную”. В главе “Война отвратительна, но. . . породила братство” есть и о Викторе Астафьеве, в коем иркутский писатель-фронтовик души не чаял; и себя, и меня на военный лад почитал солдатами в литературе, а Распутина и Астафьева — генералами. Покаюсь, мне не нравилось, у меня, двадцатилетнего, в заплечном ранце под солдатскими портянками томились генеральские погоны, и хотя не сгодились, но таились. . .

“Уходя в память гражданская война, утихомирился печально поредевший русский народ и вроде оклемался, повеселел в азартном державном труде;

но... не дремал сумеречный князь мира сего, ненавидящий Россию, остатний Божий приют на земле; и его холопы — христопродавцы, царящие в мире, — двинули на русские земли германскую орду. Великая Отечественная война... (...) “Война — дело отвратительное, тяжкое, — поминал Алексей Васильевич, — но Отечественная война породила и великое братство и товарищество, а посему до боли щемит сердце и бросает в тоску и в слезу, когда уходит из жизни военный друг...” (...) Странно, а может, и ладно, но лишь тридцать лет спустя Алексей Зверев, солдат и писатель, заговорит в прозе о Великой Отечественной войне; явятся на свет одна за другой удивительные по силе переживания, по чистоте слова, простонародно мудрые повести “Выздоровление”, “Раны”, “Передышка”. Видимо, нужны были тридцать лет, чтобы не так больно поминалась война, чтобы разглядеть трагедию, осмыслить её при ярком и верном свете — свете любви Христовой. У Алексея Васильевича христианское осмысление войны, даже без религиозной символики, интуитивное, было похоже на пробудившийся в душе голос православных предков.

Через тридцать лет начал стихать барабанный треск в военной прозе, крики “ура” на фоне штабной отчуждённости от рядового солдата; стала уходить в небытие “генеральская” проза, потом “лейтенантская”, и пришло время горькой “солдатской” прозы — страшной окопной правды, которая высветила всю непостижимую меру солдатских страданий, тем самым высветила и великий подвиг окопного воина. А подвиг и был в том, чтобы пройти через ужасы, кровь и смерть, через холод и голод, через хаос войны и остаться человеком, подобием Божиим.

Показывая “вшивую, окопную” правду войны, Алексей Зверев избежал беды, коя на старости лет постигла Виктора Астафьева в предсмертном романе “Прокляты и убиты”, где с матёрым мастерством писатель запечатлел ужас и мерзость войны, живописал и солдата, ходячего мертвеца, для коего *положить душу за другие своя, за священную землю русскую* — “пустой звон политука”.

Тогдашние правители России, по велению Запада ополчившись на русский дух, на пушечный выстрел не подпускали к телевидению русофилов, подобных Белову, Распутину, Личутину, Проханову, Куняеву, впрочем, те и не рвались в совет нечестивых, и лишь Астафьев частенько гостил на *российском* телевидении, поскользну и в романе “Прокляты и убиты”, и в телебеседах, телефильмах, и в письмах фронтовикам клял русское воинство, кое испокон веку бездарно воевало, и в Отечественную войну *не победило германскую армию, а утопило в солдатской крови, завалило трупами*.

“Уважаемый Александр Сергеевич! Ах, как жалко мне Вас огорчать на старости-то лет, да куда от жизни не денешься. Я понимаю и Вас, и всех других генералов наших, хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что... Вы и **полководцы, Вами руководившие**, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и **воевали в самой бездарной армии со времён сотворения рода человеческого**. (А как же Святослав, покоривший все соседние народы?! Или святые князья Дмитрий Донской, Александр Невский, царь Иван Грозный?! А как же Суворов, Нахимов, Скобелев и многие другие полководцы, признанные миром?! — **А. Б.**) **Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлейшего общества** — это и в доказательствах уже не нуждается”. (Выделено мною. — **А. Б.**)<sup>48</sup>.

По Астафьеву, плоть от плоти русаку, русские солдаты — *скоты безмолвные*, офицеры — *скоты рыкающие*, а уж бездарнее и подлее высшего командования русской армии в Отечественной войне и придумать трудно, коль офицеры лишь тем и занимались, что развлекались, брюхата полковых девок, да ради победы топило германца в солдатской крови. “Великая Отечественная война не была обусловлена какой-то исторической неизбежностью, — размышлял автор военного романа. — Это была схватка двух страшных авантюристов Гитлера и Сталина, которые настроили свои народы соответствующим образом... Ведь человечество, напуганное первой мировой войной, и не собиралось воевать. (...) Я думаю, что все наши сегодняшние беды — это последствия войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в этот котёл... Конечно, Сталин — это никакой не полководец! Это ничтожнейший человек<sup>49</sup>. (...) Если бы немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в рыло...”<sup>50</sup>

Эдуард Володин, русский философ, публицист, писал по сему поводу: "... И вот появляется мерзость под названием "Прокляты и убиты" — роман о Великой Отечественной войне и о её солдатах и офицерах. Более подлое сочинение вряд ли найдёшь и в мировой литературе, а тут ему устроили хвалебную критику и рекламу, подобно "тампексу" или "диролу без сахара". Оболгано было всё, что свято для народа, оболган был сам народ и его героическая армия. (...) Пошли бесконечные интервью и беседы фронтового телефониста об итогах Великой Отечественной войны, о тупости маршалов и генералов, о злобности солдат, о нелепости защиты Ленинграда. И, конечно, о рыцарстве немцев и гениальности их полководцев... В. Путин недавно вручал государственную (!) премию В. Войновичу, грязная и зловонная повесть которого "Похождения солдата Ивана Чонкина" может считаться прологом к "Проклятым и убитым" В. Астафьева! И не просто вручил, а ещё сообщил В. Войновичу, что за десять лет Россия далеко продвинулась по пути нравственности и духовности..."

Игорь Дедков так оценил роман "Прокляты и убиты": "Его прежние срывы в злобу и мстительность превратились в норму повествования; оснатив же текст подлым матом, он усугубил изображаемое и всячески нагнетаемое, концентрированное непотребство; не умея вести сразу несколько героев, как бывает в романах, и удерживать их на сюжетной привязи, он сочинил скорее тенденциозный "физиологический очерк", чем что-либо художественное"<sup>51</sup>.

Не хлебнувшим *фронтной мурцовки* русофилам, что бранили военный роман Астафьева, можно и не верить, но можно поверить Евгению Носову, фронтовику, чудом выжившему после ранения, писателю не громкому, хотя талантом и не уступающему, а, случалось, по языковой живописи, по ясности духа и превосходящему енисейского друга. Так вот, Носов, вслед за Астафьевым выглядывая в русском национальном движении фашизм и милитаризм киплинговского... прохановского толка, высоко оценивая последние астафьевские романы, тем не менее, дружески укоряет писателя: "Маленько переборщил ты и относительно высшего командования. (...) Были и держиморды, но были и чуткие, мыслящие командиры. Ну, скажем, как твой маршал Конев или мой генерал Горбатов... Е. Носов"<sup>52</sup>.

Позже Евгений Иванович, миролюбец-миротворец, уже довольно резко выразился о творчестве бывшего друга: "Мои отношения с Астафьевым тоже поостыли: он стал много врать и в своих публикациях, и в устных выступлениях. Я попытался урезонить его, но он надулся, пользуясь моментом, кляня прежнюю власть, которая и сделала его писателем, и дала возможность повидать белый свет (бывал иногда в пяти странах за одну поездку), сейчас он перебежал в иной лагерь, где сладко кормят и гладят по шерсти за его услуги, получил возможность издать аж 15 томов своих сочинений, в том числе ужасный, нечистоплотный роман "Прокляты и убиты..."<sup>53</sup>

### **Сквернословие и скверномыслие**

Жёстко бранит Евгений Носов приятеля-писателя за *вольный* язык фронтных повестей; и брань эта, разумеется, дружеская, на тринадцати книжных страницах последнего тома. Вот лишь некоторые замечания:

"Дорогой Виктор! (...) О том, что рукопись производит сильное впечатление, я уже писал в предварительной посланной открытке. Поэтому сразу перейду к замечаниям. Ну, прежде всего, категорически возражаю против оголтелой матерщины. Это отнюдь не моё чистоплюйство, и в каких-то чрезвычайных обстоятельствах я допускаю матерок. Но не походя, во многом без особой нужды, как у тебя. Это говорит вовсе не о твоей смелости или новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, каковы у него потроха... Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся ещё и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым и ничем не оправданным ударом по чему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Разве матерщина — правда жизни? Убери эти чугунные слова, а правда всё равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет.

Было бы жаль, если бы эту книжку покупали по такому доводу: "Слушай, давай возьмём. Тут такие у автора матерки! Чешет открытым текстом. Обхохо-

чешься!” Возможно, так и будет: редакторы будут визжать от остроты ощущений, бегать с твоими листами по кабинетам, показывая зланные места: во Астафьев даёт! А ещё горше, когда книга, уже напечатанная, одетая в благообразный переплёт, будет стоять на полке. Мы уже уйдём в мир иной, а она будет стоять со всей этой скверной, обжигать душу будущих читателей не столько правдой, которая к тому времени может померкнуть, а немеркнувшей дурнотой словесной порнографии.

Подумай: эта грязь останется в твоей книге на долгие времена! Написанное пером уже не вырубить топором. Прости эту банальную истину. (...) Е. Носов”<sup>54</sup>.

Лютая неприязнь Астафьева к Советской Империи, что ублажила писателя великими почестями, злое разочарование в соотечественниках скорбно отразились на художественных достоинствах последних произведений писателя, и в язык на смену былой нежной живописи ворвалась солёная, перчёная уркаганья брань. И о том письма опечаленных читателей...

“Виктор Петрович! Вот уж никогда не предполагала, что придётся написать Вам (хочется и местоимение написать с маленькой буквы!), писателю, которого я почитала как великого, – такое письмо... Разумеется, Вы можете и меня, и моё письмо послать на три буквы – ведь как оказалось, вы дружны с ними. Но как могли Вы изменить своему таланту, слову, литературе?! Нет! Так жить не хочется, тем более так говорить и читать про это. Сквернословие, поселившееся в Вашем творчестве, меня, да и не только меня, просто потрясло! Не поэтому ли и само повествование поблекло, посерело, перестало БЫТЬ. Не надо приписывать эту матерщину “простым” людям. Вы и раньше писали не об аристократах; но как нежно, целомудренно. А ведь они, “простые люди”, наверняка, умели пользоваться подзаборным лексиконом. Я с мамой вместе с бойцами отступала из занятого немцами пригородного г. Пушкина. Были отчаяние, кровь, смерти, но не было мата! Блокада: были смерть, голод, холод, но не было мата! (...) Августа Михайловна Сараева-Вондарь”<sup>55</sup>.

В послевоенных деревнях, что обретались в душевном здравии даже переживший голод, холод, воловий труд, а на западе и фронт, матерщинников не жаловали, а старики и вовсе плевали вслед матюжникам: “И как ты, архаровец, эдаким поганым ртом хлеб ешь и мамку кличешь?!” Борзо вводя матерный жаргон в авторскую речь, не говоря уж о речи героев, писатель оболщался по поводу *сермяжной правды* жизни, а тем паче по поводу речевой силы повествования, ибо сила народной речи, которой писатель прекрасно владел, не в матерке подзаборном, даже не в злополучном *чо, почо, знаш, понимаеш*; сила и краса народной речи – в природном, цветастом образе, в притчевом и пословичном любомудрии.

Виктор Астафьев в письме к покойному критику Игорю Дедкову пытается оправдать матерный язык, но не убедительно: “А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, чёрствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал; в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. (...) Виктор Астафьев”<sup>56</sup>.

Забавно, что в былые времена Виктор Петрович осуждал скверномыслие и сквернословие в литературе, когда народная власть требовала от писателей благочестивого письма, когда и в страшном сне бы не приснилось, чтобы повествования вдруг, словно дерьмом человечьим, осквернились матом: “Очень много матерщинников появилось открытых. Считается тоже новаторством. Очень много скабрёзников” (1990 год). О том же толковал и в сочинениях: “Когда слабо сопротивляющегося Сиптымбаева уволок в санпропускник, Сашка сердито забросил розу в кусты и выругался. Олег поморщился. Не любил он похабщины, не приучен к ней. Отец грузчиком был, но Боже упаси при сыне облаяться. И на войне Олег сопротивлялся, как мог, этой дикости, которой подвержены были даже большие командиры и вроде бы иной раз щеголяли ею” (рассказ “Сашка Лебедев”).

А вот отрывок из повести “Пастух и пастушка”: “Ползёт солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь из него навстречу пуле или осколку, долог путь обратный. Ползёт, облизывая ссохшиеся губы, зажав булькающую

рану под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвётся от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается суеверен. Солдат даже заискивающе-просительным делается: “Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!”

Валентин Распутин высоко ценил художественный талант Астафьева, даже когда енисеец переметнулся к властвующим хриstopродавцам, но укорял писателя: “Я думаю, если бы у Астафьева в последних романах не было мата, он что, хуже бы стал как писатель? Не стал бы хуже... Астафьев красочно матерился за столом — было одно удовольствие его слушать. Но, простите, литература — это совсем другое. В последних его книгах нет его весёлости, хотя он и пишет “Весёлый солдат”. Зачем он увлёкся этим? Есть у молодёжи эпатаж, есть и у матёрых писателей. Виктор Петрович сделал первую ошибку, заявив, что надо было сдать немцам Ленинград, дальше он уже пошёл напролом. Эпатаж это или ожесточённость, не знаю. Я думаю, он сам от этого страдал. Уверен, что он страдал и от одиночества, и от ожесточённости, но уже отступить не мог от образа своего нового, от новой репутации. Он стал узаконенным матерщинником в литературе<sup>57</sup>”.

Намедни вычитал у православных любомудров о сквернословии, что и передаю не дословно... Русская пословица гласит: “От гнилого сердца и гнилые слова”, а Господь поучает: “...от избытка сердца говорят уста” (Мф. 12, 34); “исходящее из уст — из сердца исходит: сие оскверняет человека” (Мф. 15, 18). А посему сквернословие — признак избытка скверны в сердце. Если не очищено у человека сердце, а переполнено грехом, то лётся из него сквернословие неудержимым потоком; и сквернослов повинен и в своей духовной смерти, и в гибели своих ближних. Скверна, изрыгнутая нечистыми устами, входит в уши и сердца ближних и даже ангельски светлых чад Божиих. Сквернословие рушит целомудрие и благопристойность, топит душу в пучине порока... Святые отцы, иереи, архиереи напоминали сквернословам слова Господа Иисуса Христа: “За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (Мф. 12, 36–37). Всякому смертному предстоит на Страшном Суде ответить не только за грехи, но и за грешные мысли, грешные слова.

### **Проклятье народному строю, хвала дикому капитализму**

В письмах единомышленников Астафьева не ощущаются убеждения цельные, завершённые, ощущается лишь некое потакание супостатам, что крушили Красную Империю, *подлую, рабскую, проклятую*, по их мнению. И чтобы писателю во славе и богатстве плыть на волне лихого времени, нужно было лоб расшибить, рыно послужить властвующим крушителям: проклясть российское прошлое и воспеть разрушительное нынешнее.

Вот письмо Гребенчиковых, написанное ещё в девяностом году, с выводами которых Астафьев соглашается: “Сегодня Россия переживает один из самых трагичнейших своих переломов: прозорливым людям (таким, как Солженицын) ясно, что Родину надо освободить от марксизма-ленинизма, что во имя спасения в себе человека надо поломать эту уродину — здание социализма. Но осуществиться это может только через **развал державы**” (Выделено мной. — А. Б.) Гребенчиковы<sup>58</sup>.

Матеря в хвост и гриву “брежневский застой”, писатель возглашает, что в девяностые годы благосостояние россиян резко взмыло, а если кто-то и перебивается с хлеба на квас, то лишь от вековечной *русской лени*, от *русского пьянства*.

“Дорогой Саша (Михайлов. — А. Б.). (...) В гости с Марьей сходили к одной бывшей моей односельчанке. Со стола валится закусон, напитки дорогие, компания простодушная и весёлая. Выпил пару рюмок коньяку, поел разносолов, стряпни всякой — и домой. И ведь куда ни придёшь, в рабочую семью, допустим, к двоюродной сестре на поминки ходил, — и-ё-моё — неслыханное, невиданное на столе изобилие — нет, сидят, кланут жизнь и власти. Ох, накажет наш народ Господь, ох, накажет! Ещё раз сатана с кровавым флагом явится, умоет кровью и слезами этот **слепой и тупой [русский] народишко**. (Выделено мною. — А. Б.) Твой Виктор<sup>59</sup>”.

И это о девяностых, прозванных лихими, когда мировые и доморощенные сатанаилы ограбили Россию до нитки, когда пятьдесят миллионов пенсионеров в одночасье лишились счастья, а заодно и трудовых накоплений, что лежали на сберкнижках, когда сто миллионов работяг и служащих обратились в безработных, когда сотни тысяч бедовых голов гибли в пьянстве и наркомании, в бандитских разборках и внутренних войнах, когда обнищавший народ захаживал в магазин, словно в музей обильной пищи, чтобы позариться на копчёные окорока...

“По твоему интервью у вас в Красноярске уже что-то вроде коммунизма наступило: “Бабы одеты в меха, в дорогие меха, в соболя. Мужики – в кожу. Детки, как попугайчики, нарядные”. А рабочий и пенсионный люд трёх поселков ездит в иномарках. Тогда вовсе непонятно, чего (...) “ругают власть” (...) Конечно, нынче многие носят и дорогие меха, и драгоценности, и ездят в иномарках. Но – кто? А вот кто робит в деревне, вкалывает по-мужицки (есть ещё такие!), он-то что получает? В чём ходит и что ест? (...) Ал. Михайлов”<sup>60</sup>.

Живописуя райскую жизнь, что, словно манна небесная, пала на обломки Российской Империи, Виктор Петрович, очевидно, слышал, что “шестого июня 1999 года красноярский губернатор Лебедь, выступая по телевидению и сетуя на разгул преступности в крае, вдруг сказал, что дело дошло до того, что на Красноярском кладбище с могилы, где похоронена дочь Астафьева, вору сняли какие-то украшения из цветного металла”<sup>61</sup>.

“Дорогой Виктор! (...) Наверное, XX-й век – самый кровавый для России. Гибнут люди и сейчас. Только за этот год убитых на территории бывшей нашей страны в различных конфликтах и стычках более 150 тысяч. Это жутко! За десять лет в бессмысленной войне в Афганистане погибло 15 тысяч! А этом году – 150! (Для Астафьева – хорошее время, просто, русские обленились. – А. Б.). И гибнут-то, как правило, молодые. (...) Насилие – уже как норма жизни. Раздевают до трусов детей на улицах, ибо хиленькая зимняя курточка стоит за три тысячи. Западногерманский журнал “Штерн” опубликовал интервью с начальником частного сыскного агентства в Москве. Этот деятель утверждает, что в 1991 году у нас в России бесследно исчезло 22 000 детей! Ошеломляюще-дикие информации идут отовсюду. Сами дети стали трудновоспитуемыми. (...) Л. Румянцев”<sup>62</sup>.

Созвучно размышляет о постсоветской российской жизни и профессор Томилин из Томска: “Когда здание коммунизма у нас рухнуло, то обнажился его капиталистический фундамент, а из подвалов выбежали духи наживы и устроили дикую пляску вокруг золотого тельца. Поэтому и зарплата стало нечем платить: она похищена этими нечистыми духами... В. Томилин (профессор)”<sup>63</sup>.

Для осмысления девяностых годов примечательна не столь даже переписка двух знаменитых писателей-деревенщиков Астафьева и Носова, сколь само положение их в тогдашней России. Если Носов с нищенской сумой ковлял по миру, то Астафьев въехал в ельцинский Кремль на белом коне... Былые друзья усмехались: на кривой кобыле... И его юбилей в девяносто четвёртом году власть объявила государственным торжеством, радуется, не скупясь на затраты. Бог с ним, с народом, голодным, холодным и обезумевшим от безпросветной жизни...

Астафьев пишет Нагибину о своём всенародном торжестве: “Дорогой Юра!.. Да, брат, отмучился: юбилей – это не для контуженых людей, юбилей – дело серьёзное, если его затевают к тому же, как **народное торжество**. (Выделено мною. – А. Б.) (...) Преданно твой Виктор”<sup>64</sup>. Попутно вспомнилось, Виктор Петрович то костерит Нагибина за жидовство, то – “дорогой Юра... брат... преданно твой...”

Кому юбилей, а кому... Или, как в деревне говаривали: кому Христос воскрес, а нашему Васе – не рыдай мене, мати. Вот что пишет Астафьеву Евгений Носов, тоже всенародно любимый писатель: “Мой дорогой Витя! (...) Юбилейный комитет официально приглашает на торжества (Всероссийские Астафьевские. – А. Б.). Витя, дорогой мой! Какая уж тут Сибирь: ехать на твои гроши моя “пся крев” не позволяет, стыдно и горестно, а своих денег не стало, всё, что было – отняли, а заработать не то чтобы на дорогу, но и на курево стало невозможно. Да и дорога ужасна. (...) Надо теперь переться в эту чёртову Москву, где тебя никто не ждёт, где не пустят переночевать, не говоря уж о билете, который прежде Танька Капралова из Союза писателей чуть ли не в постель готова была доставить... Твой Жена”<sup>65</sup>.

И если Астафьев сподобился встречать на берегах Енисея тогдашних правителей, устраивая банкетные торжества в честь своего имени, то Евгений Носов перебивался о ту лихую пору с хлеба на воду. “Дорогой Виктор! А я тоже заимел свою картошку... Женька на заводе получил 10 соток. (...) Я очень завидую тебе, потому что у тебя есть изба в деревне, где можно отключиться от постылой коммунальной жизни. Если бы Женька получил землю пораньше, то мы бы успели построить там домик. А теперь цены взбесились, одна дверь три тысячи стоит. Были у меня деньги, если б знал, так мог бы хороший дом купить, да и новую машину, а то “Нива” моя продырявилась: колеса истрепались, и мотор стал сыпаться. Но правители отняли у меня деньги, которые я копил, считай, всю жизнь, и посадили меня на одну пенсию. Заработать же я теперь уже не смогу. Пишу мало и медленно. Написал рассказ, послал Крупину, а тот заплатил за него 400 рублей, т. е. на одну палку колбасы, а я два месяца над ним корпел. Вот ещё один рассказ отдал евреям в “Знамя”. Может, те чего-то заплатят, может, у Бакланова совесть есть, ещё не изнасилась. Кажется, в “Знамени” платят по-божески. (...) Наш общий друг Лёня Фролов отказался печатать мой трёхтомник, выбросил из плана. Я ему теперь не литература. Им порнуху теперь подавай, Войновичей всяких. (...) Твой Женя”<sup>66</sup>.

Поругивая свергнутую народную власть и вдруг забываясь, Евгений Носов с великой грустью поминал благословенные *застойные* времена, когда, получая за писательский труд приличные деньги, жил и не тужил.

Ладно, любил Виктор Петрович поворчать, костерил коммунистов и Советский Союз, где жил по-генеральски, но за какие заслуги восхвалял лихие девяностые, что выкосили народ, словно военным лихом, запустошили крестьянские земли, угробили фабрики и заводы, унизили и оскорбили русские святые, воспели похоти, а народных писателей выпихнули на обочину жизни?! Впрочем, поругивая *глупый* народишко, что нынче, в девяностые годы прошлого века, одет в меха и катается в иномарках, Астафьев неожиданно ругает и ельцинскую власть. Словно забыв о политическом заказе, противореча себе, не может устоять перед *правдой жизни* и пишет с горечью: “У нас дела тоже идут неважно, по полгода не выплачивается зарплата, задерживаются пенсии и пособия, народ устал уже ждать облегчения. Да и понять его можно: привыкший жить от аванса до получки, в отличие от буржуев, не умеющий накопить копейку, не вписывается он в новые экономические отношения, да, за малым исключением, и не впишется, нужны два-три поколения, чтобы начать жить по-новому. А будет ли время вырастить эти два-три поколения, когда дряхлеет всё: люди, недра, промышленность; приходит в запустение и дичает земля. (...) Вот на Бога и уповаем, и надеемся, а больше уж надеяться не на кого, кругом болтовня, обман и пустые обещания. (...) Как много у нас людей, которые не сводят концы с концами, мыкаются без работы, не имеют денег заплатить за квартиру и бытовые услуги. К сожалению, число их не сокращается, и жизнь ввергает людей в отчаянье и злобу... Виктор Астафьев”<sup>67</sup>.

### “Астафьев переплюнул Толстого”

В письмах, что собраны в пятнадцатом томе собрания сочинений, Астафьев мудро позволял Евгению Носову и другим писателям, читателям погладить себя и против шерсти, поскольку хула всё равно утонет в море хвалы, где поклонники Астафьева восторгаются его поздней военной прозой порой без удержу и чуру: “Астафьев переплюнул Толстого”<sup>68</sup>.

“Уважаемый Виктор Петрович! (...) Конечно же, проза Айтматова, включающая в себя многовековой материал легенд и сказаний, потрясает. Он первый в советский период многонациональных литератур (...) не осудил мужчину за измену жене с другой женщиной вопреки профсоюзной демографии сообщества. Это замечательная, **очистительная** проза. (*Интересно, что очистительного в прозе, воспевающей прелюбодейство? – А. Б.*). В. Распутин, наш русский мужик-абориген (?), пошёл даже дальше. У него уходит за борт жизни беременная женщина, долгие годы страстно мечтающая о дитяти... Потрясающе! Потрясают и его старухи, особенно в “Прощании с Матёрой”. Умная русская женщина – и с ней во главе уходит могикиане (?) под воду. Изумительно чистая, прозрачная проза. Но Астафьев всех их переплюнул своей земной (от земли) прозой. Голодные, холодные мальчики, по ним бегают

крысы... Читаешь, а из глаз твоих бегут светлые слёзы. Лев Толстой написал прекрасные (и толстые) книги, а вот такого воздействия не достиг. У Астафьева же книги нетолстые, но прочтёшь что-либо из них, и после долго не хочется читать других авторов. **Я уверена, что по силе воздействия, да и по слову тоже, Астафьев переплюнул Толстого.** (Выделено мной. — А. Б.) Л. В. Цыбина<sup>69</sup>.

“Дорогой Виктор Петрович! (...) “Плацдарм” — Ваша вершина. Самая высокая. Очередная. Феномен Астафьева! Это великая книга. О нас в XX веке. (...) Уровень писательского мастерства в русской литературе, как мне видится, медленно повышаясь в XIX веке, начал в XX веке круто взмывать вверх (...), и где-то там, вверху, — Ваше Слово. О такой осязательности могли ли мечтать мастера слова сто лет назад? (...) Виктор Петрович, Вами написана **потрясающе мощная книга** о том, как проклятая власть проклятой державы (!!) в проклятое время убивает людей. (...) В. Миронов<sup>70</sup>.”

В письмах Астафьеву рядом с восхвалениями либерально-буржуазных времён на фоне былых рабоче-крестьянских вдруг слышится серьёзное переживание за отечественную культуру, кою заволок ядовито-сладкий, искусительный смрад бесовской “поп-культуры”. “Христос Воскресе! Дорогой Виктор Петрович! (...) Однако всё это время внутренне с Вами разговаривал, соглашался, спорил, вместе с Вами порой и газеты читал, будь они неладны, и радио слушал, и “ящик” этот поганый смотрел иногда. (...) До сих пор не читал Алешковского (не попала в руки “Звезда”), но, немало слышав про это сочинение и зная многое другое такого рода, заведомо верю Вам и не собираюсь “утешать”, убеждая, что “всё это прекрасно, всё это нужно”. Всё это стыд, мерзость, мрак и распад, но всё это прёт не только из Алешковского и через “Звезду”, а со всех сторон. “Литературное обозрение” печатает (1991, № 10) полным текстом, без точек то, что пишут обычно на заборах и в сортирах или распространяют в рукописных и слепых машинописных копиях для тайного услаждения, — печатает, сопровождая это восторженным учёным ржанием и именуя “эротической традицией в русской литературе” (кандидаты и доктора, а разницы между эротикой и похабщиной никак не уразумеют). Виктор Ерофеев, холодное, циничное литературное ничтожество, читается во всеуслышание по радио и возводится в мэтры “постмодернизма” (на ЛенТВ у него есть двойник — Сергей Шолохов, тоже очень крупный сегодня деятель). Вся новая “элита” — от “крайне левого” и крайне самодовольного Бориса Парамонова (радио “Свобода”, “Независимая газета”, далее везде) (...) от 30-летнего Дмитрия Галковского, от бойко-пёрых эмигрантов Вайля и Гениса (умопомрачительная книжка “Родная речь”, рекомендованная в качестве “пособия” самим Мин-вом просвещения) до отечественного Л. Агеева (прошлогодний “Литобоз”) — дружно поливают грязью “великую русскую литературу” (так и пишут — в кавычках), придумали забавную аббревиатуру ВПЗР — великий писатель земли русской — всё это с тем же восторженным ржанием, и всё это за то, что русская литература слишком учила и вообще — учила чему-то, тогда как на самом деле учить — это тоталитаризм, а мы все свободные люди, литература же — не более чем искусная игра, ни к чему не обязывающая. (...) Ваш В. Непомнящий<sup>71</sup>.”

Астафьев, то восхваляя, то осуждая лихие девяностые, порой судит и себя, литератора; тогда слышатся исповедальне-покаянные мотивы, присущие *истинно русским художникам*: “Дорогой Володя! (Болохов. — А. Б.) (...) Более того, я вот и сам понял, что ныне делаю тоже “антилитературу” (не о сквернословном ли романе “Прокляты и убиты” речь? — А. Б.), и какое-то время она будет царить в российской словесности, и хорошо, если какое-то время, хорошо, если великая культура прошлого выдержит её накат, а будущая жизнь будет так здорова и сильна, что устоит перед её страшной, разрушительной мощью. (...) В. Астафьев<sup>72</sup>.”

Писатель, видимо, постигая Святое Писание и Священное Предание, засомневался в духовной ценности дольного (земного) писательского слова перед горним (божественным): “Я вот недавно задумался и впервые для себя осознал: работа-то наша писательская — греховная. Есть главная мораль, от Бога идущая, Евангелие, Библия — вечные постулаты. А мы переиначиваем, искажаем эти постулаты на свой манер. Неумело, коряво подменяем слово Божие навязыванием каких-то своих личных моралей. Другой бы человек Библию почитал, ума набрался, а он сколько времени теряет, мою, например,



писанину перелопачивает. Вон уж несколько чудаков позвонили: “Виктор Петрович, все ваши пятнадцать томов прочитали!” Это ж сколько я умов нагрузил! От созерцания истинных ценностей отвлѣк...<sup>73</sup>.

\* \* \*

Добрый мой приятель, красноярский писатель Александр Щербаков подружески общался с Виктором Петровичем, горячо любил Астафьева *допереворотного*, тяжело переживал, глядя, как великий художник на склоне лет *сжигал то, что любил, и возлюбил то, что сжигал*. Впрочем, писатель, похоже, очнулся, раскаялся и воскликнул: “Я пришѣл в мир *добрый, родной, и любил его бесконечно*. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного...” И когда я послал Александру Илларионовичу нынешние заметки в их изначальном, кратком виде, тот написал мне по поводу своекорыстный суестьи вокруг Астафьева — и здорового, и покинувшего земную обитель: “Здравствуй, дорогой Анатолий!.. Твою статью об Астафьеве прочитал с огромным интересом, подивился ещё раз полному совпадению наших вкусов и пристрастий, в том числе в оценке Астафьева, “раннего” и “позднего”. Тут я твой единомышленник даже не на сто, а на всю тысячу процентов. Только ты оказался мужественней меня и всё высказал более прямо, а я не решился. Да теперь уж и интерес потерял “к теме”, хотя через десять дней ему в Красноярске, на берегу Енисея, откроют памятник. Власти с готовностью выделили на это большие миллионы и делают всё с какой-то спешкой, видно, хотят поскорее выдать его за *своего*, получить в нём лишнюю опору своей разрушительной “правоте”... Если интересно, посмотри мои заметки о нём, написанные года три тому и напечатанные сперва... младшим Куняевым [в “Нашем современнике”], а нынче полностью тем же Сукачевым [в журнале “Дальний Восток”]. С искренним уважением, твой единоведец Александр Щербаков. 2009 год”.

Да, культ Виктора Астафьева в Красноярске ныне столь велик и отмашист, что уже, кажется, нет музея, нет библиотеки в городе, где бы Виктор Петрович не был запечатлѣн классиком русской литературы. А что уж говорить о родной писателю Овсянке, о соседнем городке Дивногорске... Вот и педагогическому университету дано его имя, и вырос на енисейском берегу величавый памятник, силуэтом смахивающий на тьму памятников Ленину, где Ильич — на революционном ветру, голоуший, в широко распахнутом пальто...

Возможно, угнетали христианский дух писателя безумные славословия, коих святые отцы страшились пуще польмиа; убегали от похвал в пещеры, пустыни и таѣжную глухомань, чтобы, упаси, Господи, не искусил бес тщеславия. Святые угодники денно и ночью помнили божественные глаголы Христа, омывшего ноги ученикам: “Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою” (Мк. 9, 35). А святой и преподобный Иоанн Лествичник писал в боговдохновенном творении, повеличенном “Лествица”: “Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу... Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно; а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные... Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его... Кто превозносится природными дарованиями — тонким умом, высокою образovanностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, — тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. (...) Когда хвалители или, лучше сказать, обольстители наши начнут хвалить нас, немедленно приведѣм себе на память множество беззаконий своих и найдѣм, что недостойны мы того, что о нас говорят или что для нас делают...”

Святые, да и боголюбивые, богомольные, благочестивые христиане боялись славословий о своих духовных подвигах, а служители искусства, увы, без славословий вянут на корню, а при восхвалениях скромно опускают глаза долу; и бес тщеславия, обнявшись с бесом сребролюбия, толкает искусников на хитрости и подлости, когда разгораются порочные премиальные страсти, когда надо лукавством обойти соперника, даже, случалось, и более талантливого. Премиальные деньги не пахнут; хотя... на своей шкуре испытал...

премиальные страсти сталкивают лбами писателей, да так, что искры летят по Руси.

Слушая святых отцов, я думал: “Рабу Божию Виктору не столь восхваления потребны, сколь искренние молитвы ближних, чтобы вымолить грешную душу, а на земле памятником была бы не статуя в духе ленинских, а много-томная антология сибирской *народной* прозы, поэзии, созвучной народному духу и народному слову Виктора Астафьева. . .”

Разумеется, писатель художническим талантом вполне заслужил почтение земляков; и это для читающей России благодней, чем, если бы эдакий культ, словно языческую кумирню, искусственно, рекламно, на деньги грабителей державы мордоделы сшили белыми нитками очередному “гению” из русскоязычных временщиков, поносящих русских и эту страну, готовых со дня на день, прихватив награбленное, дать дёру в забугорный утробный рай. Народная власть славила талантливых **русских** писателей на всю планету; либеральная же власть, чтобы была не в силах замолчать бывшие советские таланты, кинулась сломя голову славить чуждых русскому духу русскоязычных инородцев, словно все российское искусство второй половины прошлого века на них и держалось.

Помню, телевидение захлебывалось от славословия в юбилей Высоцкого, перебирало его любовниц, подробно толковало о наркомании и пьянстве искусного барда и божемного актёра. А в юбилей талантливого, **русского народного** поэта Николая Рубцова на телевидении – тишина; случился и юбилей гениального **русского** композитора Георгия Свиридова – опять тишина. Невольно рождается вывод: **не любит российское телевидение русское, народное искусство. . .** Юбилеи выдающихся деятелей русского искусства проходят тихо, народу не слышно; так же тихо, без величавых песнопений в телевизоре проходили бы юбилеи Астафьева и Распутина, если бы енисейский писатель в мрачные девятые годы не послужил либерально-западнической власти, сокрушавшей Красную Российскую Империю, если бы ангарского писателя в последние десятилетия не окружали властвующие либералы, разумеется, уже не оголтелые, не митинговые русофобы, как при Ельцине, но и не русофилы – эдакие потайные западники, что, краснея, потев от натуги, лукаво постреливая хитрыми глазками, фальшиво голосят патриотические гимны. Эти либеральные властители дум и дурковатые русаки, поющие им в лад, решили: упокоились знаменитые советские “деревенщики”, и можно радостно пропеть зауспокойную молитву *русской народной* литературе, ибо отныне к власти окончательно придёт *книжная, русскоязычная*, вольно ли, невольно впадающая в русофобию.

Костеря на чём свет стоит поверженную народную державу, где люди *прозябали в нуже и стуже, в страхе и рабском труде*, похваливая буржуазные *сытые, светлые* годы, тем не менее, в завещании Астафьев, до смерти истерзанный противоречиями, вдруг земно кланяется рабоче-крестьянским временам, проклинает нынешние буржуйские: “Ухожу из мира чужого, злобного, порочного”.

Раб Божий Виктор ладился предстать пред Богом на *страшном судище*; и, может, в душе звучала просительная ектинья: “Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. . . Поддай, Господи. . . Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. . . Поддай, Господи. . . Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшном судище Христовом просим. . . Поддай, Господи. . .” И, похоже, раб Божий желал, чтобы накануне рождения для вечной жизни земные страсти и похоти угасли в душе, стихли вокруг его писательского имени. Просом просил писатель, Христа ради умолял “не делать из похорон шуму и содому; если священнослужители сочтут достойным, пусть отпоют меня в ограде моего овсянского дома. ( . . . ) Пожалуйста, не топчитесь на наших могилах и как можно реже беспокойте нас. Если читателей и почитателей захочется устраивать поминки, не пейте много вина и не говорите громких речей, а лучше молитесь. И не надо что-либо переименовывать, прежде всего, моё родное село. Пусть имя моё живёт в трудах моих до тех пор, пока труды эти будут достойны оставаться в памяти людей. Желаю всем вам лучшей доли; ради этого жил, работал и страдал. Храни вас всех Господь! Виктор Астафьев. 2 августа 1992 г. Красноярск-Академгородок”.

Не погружая книгоочая в грешное унынье, завершу заметки не за упокой, а во здравие: коли выживет боголюбивая, человеколюбивая, природолюбивая русская душа, то вздохнёт с любовью и состраданием, ведая о терзаниях и метаниях писателя, запечатлённых в письмах, публичных речах и поздней прозе; но душа читательская будет тайно плакать и тихо ликовать, постигая талантливые сочинения Виктора Астафьева, воспевающие любовь к ближнему, что предтеча любви ко Всевышнему, воспевающие любовь к русской природе, дивному Творению Божию.

1998, 2017 годы

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Виктор Астафьев: два лица // Сибирь. Иркутск, 1999. № 3. С. 169–182. Подпись: Г. Соснов.
- <sup>2</sup> Достоевский беседовал с Тургеневым в Германии, в городе Баден-Бадене.
- <sup>3</sup> “Думы о русском с древнейших до нынешних времён”. Иркутск, 2017.
- <sup>4</sup> Когда зрели сии записки, в житейском и творческом здравии пребывали Астафьев, Носов, Белов и Распутин.
- <sup>5</sup> “Лейтенантская проза” – Виктор Астафьев”. Сайт “Военное обозрение”, 16 апреля 2013.
- <sup>6</sup> Интернет-сайт “Вера. Светлое радио”. 2015.
- <sup>7</sup> О том же писал и Александр Куприн: “Есть одна – только одна – область, в которой простителен самый узкий национализм. Это область родного языка и литературы. А именно к ней евреи, вообще легко ко всему приспособляющиеся, относятся с величайшей небрежностью. Ведь никто, как они, внесли и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-сокращённых, нелепых и противных слов. Они создали теperешнюю ужасную по языку нелегальную литературу и социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они же, начиная от “свистуна” (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая Оскаром Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую и в ванную к писателям. Ради Бога!.. Идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты – куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который даже от нас, вскормленных им, требует теперь самого нежного, самого бережного и любовного отношения”.
- <sup>8</sup> “Думы о русском с древнейших до нынешних времён”. Иркутск, 2017.
- <sup>9</sup> Куняев С. Ю. “И пропал казак...”. “Наш современник”, № 8, 1999.
- <sup>10</sup> Там же.
- <sup>11</sup> Там же.
- <sup>12</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 225.
- <sup>13</sup> Там же. Т. 15. С. 311, 312.
- <sup>14</sup> Там же. Т. 15. С. 25.
- <sup>15</sup> Газета “Комсомольское знамя”. Киев. 10.01.1990.
- <sup>16</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. С. 462, 463.
- <sup>17</sup> Там же. Т. 15. С. 323, 324.
- <sup>18</sup> Там же. Т. 15. С. 323.
- <sup>19</sup> В поддержку Эйдельмана, в изодрённое уничтожение Астафьева выплеснулось на журнальные и газетные страницы изрядно статей, и среди них самая филологически основательная статья К. Азадовского. Напомним его судьбу... С 1981 года Константин Азадовский, филолог, диссидент (суть, враг России), является членом Международного общества Р. М. Рильке, швейцарского и западногерманского отделений международного Пен-клуба. С 1992 года – член-корреспондент Германской академии языка и литературы (Дармштадт). С 1999 года – председатель Исполкома Санкт-Петербургского Пен-клуба. Награждён офицерским крестом ордена “За заслуги перед Федеративной Республикой Германия” (2011).
- <sup>20</sup> Сергей Куняев. “И Свет, и тьма” (К 80-летию писателя Виктора Астафьева). “Наш современник” № 5, 2004.
- <sup>21</sup> Там же.

- <sup>22</sup> Ныне уже мало смысла таить, что письмо было написано В. Распутиным.
- <sup>23</sup> “Красноярская газета”, 1998.
- <sup>24</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 267.
- <sup>25</sup> Там же. Т. 15. С. 202, 203.
- <sup>26</sup> Там же. Т. 15. С. 237.
- <sup>27</sup> Там же. Т. 15. С. 54.
- <sup>28</sup> Там же. Т. 15. С. 58.
- <sup>29</sup> Там же. Т. 15. С. 139.
- <sup>30</sup> Там же. Т. 15. С. 142.
- <sup>31</sup> Там же. Т. 15. С. 256.
- <sup>32</sup> Там же. Т. 15. С. 256–258.
- <sup>33</sup> Там же.
- <sup>34</sup> “Известия”, 5.10.93.
- <sup>35</sup> Шабесгой, шабес-гой (ивр. גוי-לבוש шабес-гой – “субботный гой”), иначе гой шель шабат, шаббат-гой – нееврей, нанятый иудеями для работы в шаббат (субботу), когда сами ортодоксальные иудеи не могут делать определённые вещи. В нееврейском толковании: шабесгой – нееврей, купленный евреями, предавший Христа, родной народ и Отечество.
- <sup>36</sup> Договор с обманом. Коммерсантъ, № 38 (4093), 4.03.2009.
- <sup>37</sup> Кагарлицкий Б. Ю. Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали. Екатеринбург, “Ультра. Культура”, 2005. 576 с.
- <sup>38</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 499–510.
- <sup>39</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 9.
- <sup>40</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 506.
- <sup>41</sup> Там же. Т. 15. С. 382.
- <sup>42</sup> Там же. Т. 15. С. 443.
- <sup>43</sup> Астафьев В. “Коммунисты всегда врали...” Комсомольская правда. 1996. № 120. 1 июля. С. 1.
- <sup>44</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 122–123.
- <sup>45</sup> Там же. Т. 15. С. 174.
- <sup>46</sup> Там же. Т. 15. С. 452.
- <sup>47</sup> Там же. Т. 15.
- <sup>48</sup> Там же. Т. 15. С. 22.
- <sup>49</sup> “Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь Сталину” (*Святой Лука (Войно-Ясенецкий)*); “Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба И. Сталина. По своим военным и политическим качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина не появлялись” (*Адольф Гитлер*); “Это большая удача для России в её отчаянной борьбе и страданиях – иметь во главе великого и строгого военначальника. Он – сильная и выдающаяся личность, соответствующая тем мрачным и бурным временам, в которые его забросила жизнь, человек неистощимой храбрости и силы воли, прямой и даже резкий в речах...” (Черчилль У. *Речь в палате общин 8 сентября 1942 года*); “Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России” (Герберт Уэллс. *“Опыт автобиографии”, 1934*).
- <sup>50</sup> “Аргументы и факты”. 1998, № 19.
- <sup>51</sup> “На боевом посту”, 2011, № 11.
- <sup>52</sup> Там же. Т. 15. С. 151.
- <sup>53</sup> “Литературная Россия”, 21 июля, 2001.
- <sup>54</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 399, 400.
- <sup>55</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 452.
- <sup>56</sup> Там же. Т. 15. С. 476.
- <sup>57</sup> “День литературы”, № 10, 2005.
- <sup>58</sup> Там же. Т. 15. С. 9.

<sup>59</sup> Там же. Т. 15. С. 383.

<sup>60</sup> Там же. Т. 15. С. 257.

<sup>61</sup> Куняев С. Ю. “И пропал казак...” “Наш современник”, № 8, 1999.

<sup>62</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 155.

<sup>63</sup> Там же. Т. 15. С. 457.

<sup>64</sup> Там же. Т. 15. С. 224.

<sup>65</sup> Там же. Т. 15. С. 211.

<sup>66</sup> Там же. Т. 15. С. 236.

<sup>67</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. С. 470, 471.

<sup>68</sup> Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. 15. С. 64.

<sup>69</sup> Там же. Т. 15. С. 63, 64.

<sup>70</sup> Там же. Т. 15. С. 384, 385, 387.

<sup>71</sup> Там же. Т. 15. С. 120-121.

<sup>72</sup> Там же. Т. 15. С. 56.

<sup>73</sup> Борис Карпов. Поле его брани. Авторский блог. 04:00 26.10.2011.